



ИВАН  
ИВАНОВИЧ  
ПАНАЕВ

# Иван Иванович Панаев

## Опыт о хлыщах

Иван Иванович Панаев (1812 - 1862) вписал яркую страницу в историю русской литературы прошлого века. Прозаик, поэт, очеркист, фельетонист, литературный и театральный критик, мемуарист, редактор, он неотделим от общественно-литературной борьбы, от бурной критической полемики 40 - 60-х годов.

В настоящую книгу вошли произведения, дающие представление о различных периодах и гранях творчества талантливого нраво- и бытописателя и сатирика, произведения, вобравшие лучшие черты Панаева-писателя: демократизм, последовательную приверженность передовым идеям, меткую направленность сатиры, наблюдательность, легкость и увлекательность изложения и живость языка. Этим творчество Панаева снискало уважение Белинского, Чернышевского, Некрасова, этим оно интересно и современному читателю

# Содержание

ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ХЛЫЩ . . . . .	0005
Глава I Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах . . . . .	0005
Глава II О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами . . . . .	0031
Глава III Биографический очерк барона Щелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом «хлыщ» . . . .	0064
Глава IV, в которой описывается прелесть дачной петербургской жизни, дачная природа и дачные препровождения времени и увеселения . . . . .	0112
Глава V, из которой проницательный читатель усмотрит многое, во-первых, что хлыщи бывают различных родов; во-вторых, что великосветские хлыщи в свою очередь робеют и иногда делаются неловкими; и в-третьих, что они разоблачаются и обнаруживают себя вдруг, совершенно неожиданно даже для самих себя, причем также вполне объясняется	

читателю значение не всеми употребляемого, но приятного для слуха слова хлыщ . . . . .	0158
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ХЛЫЩ . . . . .	0224
I. Детство . . . . .	0224
II. Молодость . . . . .	0263
III. Зрелый возраст . . . . .	0310
IV. Закат . . . . .	0345
ХЛЫЩ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (DE LA HAUTE ECOLE) . . . . .	0375
Вместо вступления . . . . .	0375
I . . . . .	0378
II . . . . .	0384
III . . . . .	0406
IV . . . . .	0433

# ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ХЛЫЩ

## Глава I

### Дагерротип с артистического семейства и о том, как приятно проводить время в таких семействах

**Я** знаю лет двадцать Грибановых. Отличнейшее семейство и притом с артистическими наклонностями. Музыка, скульптура, живопись, литература составляют жизнь этого семейства. Оно совсем погружено в изящное. Всякий артист, какой бы маленький талантлик ни имел, в какой бы крошечной сфере ни действовал, хотя бы только искусно играл на балалайке, наверно будет принят в этом почтенном семействе с распростертыми объятиями. Литератор бежит туда читать свое новое произведение, еще не оконченное; художник показать свои эскизы, только что набросанные небрежно карандашом, и в которых ровно ничего разобрать нельзя, — и тот и другой уверены, что найдут глубочайшее сочувствие. Хозяин дома, с большим искусством

вырезающий из бумаги силуэты; его свояченица, заменившая в доме умершую хозяйку, превосходно лепящая цветы из воска; сын, пишущий стихи; дочь, занимающаяся живописью и музыкой, — все ахают и восхищаются, слушая новое произведение литератора и рассматривая новые эскизы художника, и потом повторяют своим знакомым в течение по крайней мере месяца, каждому по очереди: "Ах! какую повесть читал нам NN!.." "Ах! какие эскизы показывал нам Д. Д.!.." "Ах, сколько у них таланта!.." и проч. Доброта этих людей простирается до того, что они приходят в восторг от всякого, даже плохого произведения, если только оно в первый раз прочитано или показано в их доме. Правда, о произведениях замечательных и талантливых, которые не были им читаны или показаны, отзываются они хладнокровно, но это вследствие искреннего убеждения, что ни одно замечательное произведение не может не быть предварительно им известно, что все художники, поэты, музыканты, скульпторы, литераторы, певцы и певицы, знакомые им, — люди, непременно обладающие высокими таланта-

ми, и что те, которые не имеют этой чести, едва ли могут иметь и дарование. Нежная привязанность друг к другу, соединяющая членов этого семейства, поистине замечательна. Отец обожает своих детей, дети обожают отца, тетка обожает племянника, племянник тетку... В этом доме все обожают друг друга. Если отец вырежет какой-нибудь новенький силуэтик, сын немедля приходит от него в восхищение и бежит к тетке.

— Посмотрите, — говорит он, — какую удивительную вещицу вырезал папенька, с каким вкусом, с каким изяществом, это просто художественно!

— Ах, какая прелесть! — восклицает восхищенная тетка. Если сын напишет стихотворение и прочтет его отцу и тетке, отец, пожимая плечами от удивления, со слезой на реснице восклицает:

— У, как это хорошо! Какой стих! Какая мысль! Я никогда ничего не слышал лучше этого!

И при этом голос отца задрезжит, умиленный, как порванная струна.

— Это маленький chef-d'oeuvre! — восклицает

цает тетка, всплеснув руками.

Затем оба они, отец и тетка, закричат:

— Пелагея Петровна! Пелагея Петровна!

Приживалка, вроде ключницы, прибежит на этот крик, запыхавшись, но с приятной и подобострастной улыбкой, которая замерла на лице ее и которая не оставляет ее даже в самые горькие минуты ее жизни.

— Что прикажете-с?

— Послушайте-ка, матушка, — скажет отец, прищелкнув языком, — какие новые стихи написал Иван... лучше ничего не было написано на русском!

— Ах, какие стихи! — повторит тетка. — Пожалуйста, друг мой, не поленись, прочти еще раз.

И она нежно взглянет на племянника. Племянник мгновенно повинуется и начнет читать; отец между тем качает в такт головой во время чтения и, смотря на Пелагею Петровну, говорит:

— Слушайте, слушайте! (хотя та и без того благоговейно слушает, даже разиня рот от излишнего внимания). Каков стих-то! Каков стих-то. Замечаете, а?

И ударит по плечу Пелагею Петровну, а сам так и залъется слезами, хоть бы стихи были комического содержания.

Вечером, когда явятся гости, сначала приживалка, разливая чай, шепнет непременно каждому на ушко: "Иван Алексеич написал новое бесподобное стихотворение!" Потом отец, не более как через четверть часа после приживалки, барабаня по столу, не утерпит и вдруг брякнет среди разговора вовсе некстати:

— Что, Иван ничего вам не показывал?

— Нет-с, — ответит гость.

— Заставьте его прочесть: он написал новое стихотворение... Это вещь капитальная, необыкновенно хороша! Из него вырабатывается что-то очень серьезное!

И открытое, добродушное лицо старика выразит столько счастья при мысли, что он произвел на свет такое гениальное дитя, что и гость, даже самый нечувствительный, невольно расчувствуется.

Тетка, в свою очередь, с свойственной ей любезностью и приятностью занимая гостей, не упустит ввернуть словцо:

— Я знаю, м-г такой-то, что вы любите поэзию или интересуетесь литературой (что-нибудь вроде этого). Ах! если бы вы знали, какое Иван Алексеич написал стихотворение! Мне, как родной, совестно хвалить, но вы сами услышите. Погодите, я его упрошу прочесть.

И она начнет искать глазами племянника. Но племянник вдруг как из-под полу выскокит перед теткой, сладко улыбнется гостям, посмотрит на них заискивающими глазами и скажет:

— Нет, тетушка, это, право, не стоит того, довольно слабая вещица, когда-нибудь после, не теперь.

Но тогда гости начинают приставать к нему:

— Пожалуйста, прочтите, сделайте одолжение, мы так много слышали...

— Ну почти же, братец, почти, — вскрикнет вдруг откуда-то появившийся отец.

Около поэта составитя кружок, и он начнет декламировать, изредка прерываемый восклицаниями: "Превосходно, прекрасно!" После декламации тетка отведет одного или

двух гостей в сторону и произнесет шепотом: "Не правда ли, какой талант?" На что гостям ничего более не остается, как отвечать: "О, удивительный!" Иногда сын потащит гостей в кабинет отца и скажет им:

— Позвольте-ка, господа, я вам покажу чудную вещицу. Папенька вырезал недавно целый пейзаж.

И, входя в кабинет, он начнет рыться в портфеле отца, приговаривая:

— Куда это старик зарыл его? Не любит, чтобы смотрели... Чудак!.. да мы отыщем... погодите... Вот, вот, вот!.. Взгляните, как хорошо задумано, рассмотрите эту фигуру, сколько в ней выражения, а это дерево? Ведь это дуб, настоящий дуб!.. Вглядитесь хорошенько... Какое искусство!

И гости рассматривают и удивляются. В такие минуты всегда нечаянно входит отец:

— Иван, Иван, — говорит он, грозя ему пальцем, — что это, полно, братец: ну стоит ли это смотреть... Это так я, шалю на старости, от нечего делать.

— Помилуйте, — восклицают гости, — какая это шалость! Это чистейшее искусство!

— Оно-таки точно недурно, — заметит старик, постепенно увлекаясь, и продолжает уже голосом, дрожащим от умиления, — вот обратите внимание особенно на эту коровку, что наклонилась к водопою... Поль-потеровская коровка-то! Сколько жизни в этом движении, заметьте, заметьте... Ах, кабы не лета, глаза уж служить отказываются, не то бы я еще сделал!

И у старика закапают слезы...

В квартире Грибановых, за исключением будуара и гостиной, устройством которых занимается Лидия Ивановна (так зовут тетку), совершенно артистический беспорядок: на столах валяются старые рукописи, исписанные стихами, клочки бумаги с различными вырезками, краски, книги, рисунки, и все это покрыто постоянно слоем пыли; но зато будуар и гостиная, это, так сказать, небольшие храмы изящного: занавесочки, этажерочки, куколки, сделанный и настоящий плющ, гравированные картинки, коврики, вышитые подушки с кисточками, цветные фонарики, пресс-папье, бронзовые ручки, ножи для разрезывания книг, печатки — все это размеще-

но с замечательным искусством на весьма малом пространстве. В одном только углу будуара груды воску и краски; этот угол Лидия Ивановна называет своим ателье. Лидии Ивановне лет под пятьдесят, но при вечернем освещении она кажется несравненно моложе своих лет, чему немало способствуют различные украшения ее туалета: пукольки, бантики, кружевца, цветочки, употребляемые в большом количестве. Она говорит обыкновенно голосом тихим, более подходящим на шепот, и недосказанное или недослышанное договаривает глазами, на которые, кажется, значительно рассчитывает, потому что эти глаза, по замечанию старожилов, производили большое впечатление... В выражении лица и во всех ее движениях необыкновенная мягкость, которую только злые языки называют лицемерной сладостью. Алексей Афанасьич (так зовут г. Грибанова) отличается простотою обращения, искренностью в речах и в манерах, совершенною бесцеремонностью, способностью от всего умиляться и постоянно слезящимися глазами. Он весь нараспашку для всех входящих в его дом... Ему и в голову не

приходит, чтобы человек дурной, насмешливый или подозрительный мог перешагнуть через порог его квартиры. Со всеми одинаково простодушен и приветлив, — он при всех, даже при посторонних дамах, является всегда по-домашнему: в затасканном сюртуке и в старых плисовых туфлях, с листом бумаги и с ножницами. Ему лет под шестьдесят; но он кажется старше своих лет, потому что не имеет ни малейшего поползновения бодриться и молодиться. В чертах его лица много приятности, которая невольно располагает к нему с первого взгляда. Он не вмешивается ни во что в доме, и если у него о чем-нибудь спрашивают, то обыкновенно отвечает: "Я не знаю, спросите у Лидии Ивановны". Он не распоряжается ничем, не располагает ни одною копейкою; все, что приобретает, он несет к Лидии Ивановне. Состояние их маленькое; но чтобы "прилично поддерживать себя", как выражается Лидия Ивановна, Алексей Афанасьич очень усердно трудится и служит, не имея ни малейшего расположения к службе и труду. Будь он один, он и не подумал бы о службе; зимой лежал бы себе целый день на

боку да вырезывал бы свои силуэтики, а летом бродил бы по лесу за грибами. Свои служебные занятия он считает пустяками, а делом — вырезывание фигурок из бумаги, и хотя служебные занятия очень тяготят его, но он никогда на это не жалуется и никому не говорит, как это ему не по сердцу, для того чтобы не огорчать Лидию Ивановну. Разве иногда только, когда уж придется невмочь, когда его завалят делами, он вздохнет и промолвится приятелю: "Ах, если бы побольше средств, бросил бы все это и посвятил бы себя исключительно одному искусству.

Ведь у меня все склонности артистические, ведь я рожден артистом!" Для Алексея Афанасьича все знакомые равны; у Лидии Ивановны есть фавориты между знакомыми и между домашнею прислугой: она не может существовать без фаворитов.

Сыну Алексея Афанасьича, Ивану Алексеичу, двадцать четыре года, но ему кажется лет под тридцать. Он не заботится о своей внешности, потому что весь погружен в свой внутренний мир, весь проникнут своим призванием. И Лидия Ивановна, вовсе не пренебре-

гающая внешностью, не только прощает ему его небрежность, но находит, что в нем это иначе и быть не может, потому что все люди высших талантов, как известно, мало занимались своим туалетом... Она в этом случае совершенно справедливо рассуждает про племянника: "Он чудак, потому что все поэты немножко чудаки!" — и при этом с чувством родственной гордости прибавляет: "Поверите ли, он и галстуха даже повязать не умеет, я всегда сама ему повязываю галстух".

На этом молодом стихотворце, не умеющем повязывать галстух, основано все счастье, все надежды, вся гордость артистического семейства. Это блестящий талант, разливающий свой блеск на все его окружающее; центр, около которого группируются остальные семейные талантики. Он дает тон и направление всему семейству... Отец и тетка, заменившая мать, только отражают и распространяют его мысли. Те из знакомых, которые не безусловно разделяют этот образ мыслей и имеют неосторожность обнаружить некоторое противоречие, утрачивают обыкновенно доброе расположение почтенного семейства

и причисляются к людям остановившимся, не способным идти вперед — просто к отсталым. Чтобы пользоваться его постоянной благосклонностью и радушием, чтобы прослыть в семействе за человека замечательного и умного, необходимо в каждый данный момент стоять в уровень с Иваном Алексеичем: останавливаться вместе с ним, идти вперед или отодвигаться назад. Но и отодвигаясь назад, уверять и себя и других, что двигаешься вперед и что те, которые в самом деле идут вперед, останавливаются или отодвигаются назад.

Приговор сына есть приговор окончательный для отца и для тетки. Он решил, что у сестры Наденьки недостает чувства (может быть, потому, что она не так восторгается его стихами, как остальные члены семейства), и они безусловно приняли этот строгий приговор, и никакие факты не разуверят их в противном.

Отец, узнав об этом в первый раз, глубоко огорчился... "Ах, жаль, — думал он, — Наденька, моя девочка, славная и добрая, если бы у нее только чувства-то побольше, вот ее недо-

статок!" — "Но отчего же недостает у нее чувства? — робко в то же время шептал ему внутренний голос, — когда ты, например, болен, она и днем и ночью ни на шаг не отходит от твоей постели, она так заботливо ухаживает за тобою..." Старик задумывается. У него слезы навертываются на глазах при воспоминании о том, что шептал ему внутренний голос. "Нет, что бы ни говорили, а у нее много чувства!" — продолжает смелее внутренний голос. Старик очень хочется поверить внутреннему голосу; но в эту минуту, как нарочно, подвертывается сын и начинает с большим красноречием и убедительностью доказывать, что такое чувство и почему именно у сестры недостает его. Старик мгновенно колеблется, слушая эти красноречивые речи; он заглушает внутренний голос и снова повторяет про себя: "Жаль мне, очень жаль бедную Наденьку!" Наденьке девятнадцать лет. В лице ее много приятности и много выражения в небольших серых глазах. У нее есть голосок, и она недурно поет различные романсы, как-то: Я видел деву на скале, Цветок, Сто красавиц чернооких, Любила я, и проч. Она хорошо сло-

жена и отличается от всех своих подруг простою обращения и совершенным отсутствием тех прекрасных манер, которые в сущности не что иное, как жеманство и ломанье...

Все это я говорю в настоящем, хотя этому прошло много лет, но я как будто теперь вижу перед собою девятнадцатилетнюю Наденьку в белом кисейном платье с клетчатым шотландским поясом, беспечную и веселую, срисовывающую букет цветов с натуры, а против нее облокотившегося на стол молодого человека очень приятной наружности, внимательно следящего за движением ее кисти. Она по временам взглядывает на него, улыбаясь, и в эти минуты лицо молодого человека сияет счастьем. Мне всегда казалось, глядя на них, что они созданы друг для друга...

Я ездил в дом Грибановых раза два в месяц, по четвергам. Это были их дни. По четвергам сходились к ним самые близкие их знакомые, по большей части артисты и литераторы. Невозможно передать, какое радушие и гостеприимство царствовало в этом доме, сколько искренности расточалось со сто-

роны хозяина, сколько любезности со стороны хозяйки, сколько предупредительности, глубокомыслия и сладких улыбок со стороны сына. На этих четвергах всякий этикет был изгнан; каждый чувствовал себя как бы дома. Гости являлись запросто в сюртуках, приводили с собой своих знакомых, не предупреждая даже об этом хозяев, и вновь представленные не более как через полчаса ощущали, будто они век знакомы в доме... Все засядут, бывало, за круглый стол, на котором дымится исполтинский самовар, закурят трубки и папиросы, и пойдут толки об искусствах и литературе.

Кто-нибудь из присутствующих коснется поэзии, и при этом знаток русской словесности и отчасти литератор, по фамилии Пруденский, имевший в семействе репутацию отличного декламатора, вскочит со стула и с угрожающим жестом и густым басом продекламирует новое стихотворение Ивана Алексеича, к несказанному удовольствию его папеньки и тетеньки, и, окончив декламацию, с тупою улыбкою обведет глазами собрание, сядет, и вслед за тем посыплется град восклицаний.

ний:

"Превосходно! чудо! какие стихи и как вы декламируете!" — Удивительно! — заметит Лидия Ивановна, подкатывая глазки под лоб, — а вот наш Иван Алексеич совсем не умеет читать своих стихов.

— Нечего сказать, таки не мастер, — возразит Иван Алексеич, приятно усмехаясь.

— Зато уж писать мастер! — прибавит непременно Пруденский.

— Пишет-то недурно, нечего сказать, недурно, — промолвит с самодовольствием отец, взглянув на сына с чувством, и потрепет его по плечу.

А между тем приживалка Пелагея Петровна то и дело что наливает стакан за стаканом, так что пот градом льется из-под чепца ее; пар от самовара и дым от трубок и сигар гуще и гуще расстилаются по комнате, и в этом чаду трудно уже наконец разбирать лица. Между чаем и ужином Наденька сядет за фортепьяно, пропоет "Сто красавиц чернооких", а молодой человек, влюбленный в нее, станет сзади ее стула и дрожащей рукой начнет перевертывать ноты. Когда она кончит, Лидия

Ивановна скажет ей, бывало: "Ну, довольно", кивнет головой и обратится к одной из постоянных посетительниц этих вечеров, барыне лет под тридцать, одетой с необыкновенной изысканностью и беспрестанно поводящей плечами и передергивающейся:

— Аменаида Александровна, душечка, спойте нам что-нибудь... У вас такой прелестный голос. *Je vous prie...*

— *Pour rien au monde, ma chere*, я не в голосе, — обыкновенно возразит на это Аменаида Александровна, — я не могу.

— Полноте, полноте, матушка, вы всегда в голосе, — заметит Алексей Афанасьич, — садитесь-ка, садитесь-ка, что тут много толковать...

— Я вам говорю, что я не могу. *Comme c'est drole!*..

Тогда сын подойдет к Аменаиде Александровне и начнет упрашивать ее... Наконец барыня решится, встанет, сбросит с себя мантилью, обнажит свои плечи, обдернется и подойдет к фортепьяно. Здесь, впрочем, начнется опять: "Ей-богу, я не могу, у меня болит горло; я не знаю, сколько времени я не пела", и

тому подобное... Но дело всегда кончится тем, что барыня затынет:

*Цветок засохший, безуханный...*

Или:

*Коварный друг, но сердцу милый, — и проч.*

И с последней ноткой обратится к гостям: "Вот видите ли, я совсем не могу петь!" и коснется рукою до горла, как будто желая показать, что ей там мешает что-то.

"Браво, браво", — воскликнет Алексей Афанасьич и захлопает в ладоши, посматривая на гостей и поощряя их к тому же. Тогда раздастся гром рукоплесканий, после которых Лидия Ивановна подойдет к Аменаиде Александровне, промолвит: "Восхитительно, та chere!" и поцелует ее.

Время между тем движется понемногу. Вот уж и половина двенадцатого.

— А что, — заметит Алексей Афанасьич, потирая свой желудок и поглядывая на Лидию Ивановну, — не пора ли и закусить, что-то есть смертельно захотелось.

— Ну что ж? прикажите, — заметит Лидия

Ивановна.

И тогда послышится гармонический для гостей стук тарелок и ножей. На круглом столе, на котором за три часа перед тем дымился чудовищный самовар, появится добрый кусок солонины, сыр, масло, грудa вареного картофеля, а на другом столике — водка и тарелка с солеными грибами.

— Ну-ка, господа, водочки... без этого нельзя, да закусите грибочком-то, чудные грибки! Я сам собирал их! — воскликнет добродушный Алексей Афанасьич, наливая себе рюмку водки. — Садитесь, господа, садитесь... чем бог послал, не взыщите...

И все разместятся, теснясь друг к другу, за столом: дамы и более почтенные из мужчин ближе к тому краю, где Лидия Ивановна, а остальные около Алексея Афанасьича.

— Ах, какая солонина-то! — непременно заметит Алексей Афанасьич, приступая к ее разрезыванию, — посмотрите, посмотрите, сок так и льет, а жир-то какой, настоящий янтарь!

— Из мира фантазии перейдемте-ка, господа, к действительности, к существенному, —

заметит Иван Алексеич, глядя с приятностью на гостей, указывая с жадностью на солонину и кладя себе на тарелку два огромных куска.

И в ответ на это домашнее остроумие всегда, бывало, раздастся добродушный смех.

Всякий четверг повторялось то же самое с небольшими изменениями. Иногда только вдруг, ненароком появится какая-нибудь неслыханная певица и прокричит какую-нибудь итальянскую арию или невиданный до толе сочинитель с какой-нибудь ассирийской драмою...

Но раза три или четыре в год у Грибановых бывали большие собрания в день чьих-нибудь именин или рожденья. Тогда зажигались лишние лампы, гости мужского пола надевали фрак, наезжало большое количество девиц и дам, одетых по-бальному; также показывались два штатских генерала со звездами и один военный. В эти торжественные вечера, на которых даже сам хозяин являлся не в туфлях, а в сапогах, артистические занятия отлагались в сторону: молодежь танцевала под фортепьяно, а люди пожилые и чиновные и толстые барыни в беретах садились за

карточные столы... Но и тут не обходилось без поэзии. В какой-нибудь дальней комнате, в конце коридора, куда танцоры изредка забежали затаиться, Иван Алексеич собирал вокруг себя небольшой кружок молодых людей, не танцующих, самых горячих любителей искусства, и декламировал им свои стихи. Молодые люди благоговейно слушали его, и если в комнату входил лакей Макар с подносом или забегала за чем-нибудь горничная, скрипя башмаками и дверью, молодые люди махали на них обыкновенно руками, шикали и потом на ключ запирали двери, чтобы уже никто не мог помешать их эстетическим наслаждениям.

На этих вечерах разносили обыкновенно мороженое, конфеты, яблоки и варенья, и увеселения оканчивались праздничным ужином. Ужин приготавливался человек на тридцать, но гостей обыкновенно являлось человек пятьдесят. Добрые и гостеприимные хозяева приходили в некоторое беспокойство и всё надеялись, не уйдет ли авось кто-либо из бездействовавших кавалеров до ужина, но эти кавалеры упорно держались в своих пози-

циях, и на лице их можно было прочесть, что они именно только и ожидают ужина, что они явились единственно для ужина, что они в тоске по ужину и внутренне проклинаят всю эту нескончаемую мазурку, мучимые страшным аппетитом.

Дело оканчивалось, однако, всегда благополучно, и все возвращались домой, накушавшись досыта. Этому немало способствовала закуска перед ужином. В небольшой комнатке, примыкавшей к столовой, ставились, минут за десять до ужина, на двух ломберных столах, сдвинутых вместе, водка и закуска, состоявшая из груд нарезанной икры, ветчины и сыра. Когда мазурка оканчивалась, все кавалеры под предводительством отца и сына с некоторою дикостию бросались обыкновенно в эту комнату и разом осаждали стол с закуской. Натиск бывал так силен, что многим в эту минуту отдавливали ноги или зашибали руки, и три перемены этих груд икры, ветчины и сыра каждый раз при новом натиске исчезали в одно мгновение ока.

Успокоенные таким образом, кавалеры приступали к ужину с гораздо меньшею алч-

НОСТИЮ.

Я чуть было не забыл еще замечательный факт. Грибановых нередко посещал между прочими один знаменитый литературный авторитет, которому все семейство изъявляло подобострастное уважение. Авторитет поощрял стихотворные занятия Ивана Алексеича, признавая в нем несомненный талант. И в благодарность за это авторитета сейчас же нарекли в семействе высочайшим гением, и горе было тому, кто осмеливался обнаружить сомнение в том, что он ниже Шекспира или Гомера. На такого смельчака смотрели как на слабоумного или сумасшедшего. Если авторитет обедал в семействе, перед его прибором ставили граненый хрусталь розового цвета и большие мягкие кресла, ему подавали особые кушанья. Когда он делал вид, что желает заговорить, все смолкало, а когда после обеда он закрывал глаза, развалившись в покойных креслах, то мухе не позволялось пролететь мимо него: все на цыпочках выходили вон, и сын, махая рукой отцу, имевшему иногда привычку напевать себе под нос: "Томтороро-мтом-том!" или что-нибудь вроде этого,

шептал с сердцем:

— Тсс! Папенька, бога ради не шумите. Ведь Григорий Петрович начинает засыпать.

— Ай-яй-яй! — прошепчет, бывало, старик, — виноват, виноват!

И, затаив дыхание, едва касаясь носком своих туфель пола, удалится по стенке в свой кабинет.

У Лидии Ивановны всякий раз, когда она взглядывала на авторитет, захватывало дыхание, и что бы ни сказал он, хотя бы просто: "Какая сегодня скверная погода!" или что-нибудь подобное, члены семейства значительно переглядывались между собою, как бы желая сказать этим взглядом: "У! Как глубоко!" Так, впрочем, всегда в жизни: стоит только раз приобрести себе репутацию гениального, необыкновенно умного, ученого или остроумного господина, и потом смело, хоть целый век, говори дичь — все будут слушать эту дичь, разиня рот, подозревая, что под нею кроется что-нибудь необыкновенно глубокое. В одном доме, очень средней руки, какой-то тупоумный шут прослыл почему-то за остроумнейшего господина, и я сам был однажды

свидетелем, как он, вбегая в гостиную, закричал хозяйке дома: "Холодно, холодно, чайку бы, сударыня, чайку бы выпить", и все общество, к моему величайшему изумлению, так и покатило от смеха; а хозяин дома, ухватив себя за бока, закричал ему: "Полно, братец, полно! Бога ради, не смеши!" и продолжал заливаться самым искренним смехом.

Над подобострастным уважением семейства Грибановых перед авторитетом многие подтрунивали, но мне всегда казалось, что авторитет, допуская с собою такое обращение, был гораздо смешнее самого семейства.

Грибановых нельзя было не любить. Их добродушие и гостеприимство действовали на всех обаятельно. Бывало, часто становится смешно, глядя на них, но в ту же минуту внутренне говоришь себе: "Однако все-таки какие добрые и славные люди!" Это был общий голос.

— Елейное семейство! — прибавлял обыкновенно Пруденский, один из самых ревностных посетителей Грибановых, отличавшийся особенною ловкостью и смелостью при оса-

дах на закуски в именинные дни.

## Глава II

**О том, каким образом великосветские хлыщии пускают пыль в глаза перед людьми простыми и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами**

Вечером в один из четвергов я проезжал мимо квартиры Грибановых и заметил в их окнах необыкновенное освещение. "Что бы это могло значить? — подумал я, — сегодня, кажется, нет ни именин, ни рожденья". Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велел кучеру остановиться у подъезда. Вхожу на лестницу — лестница освещена двумя старинными свечами в фонарях; это озадачило меня еще более, потому что даже в торжественные дни рожденья и именин в этих фонарях обыкновенно горели сальные свечи. Звоню с некоторым нетерпением. Двери открываются тотчас, что также случилось весьма редко. В передней поражает меня лампа вме-

сто свечи и сильное благовоние от герковских бумажек. "Эге! да тут в самом деле совершается что-нибудь необыкновенное", — подумал я. Удивление и любопытство мое возрастали с каждым шагом вперед. В зале, вместо одной, зажжено было четыре лампы; в гостиной сиял карсель, зажигающийся раз в год и служивший более для украшения, нежели для освещения комнаты; в будуаре теплились все фонарики, разливая красноватый и неприятный полусвет, и во всех комнатах было так накурено духами, что делалась даже небольшая тошнота и головокружение. Лилия Ивановна была вся усыпана цветочками, бантиками и пукольками, цвет лица ее был необыкновенно ярок; дочка была одета также по-праздничному; сын все улыбался и ходил, потирая себе руки; но что всего удивительнее — на хозяине дома были сапоги; волосы его, постоянно растрепанные, были приглажены, новый атласный галстух подпирал его подбородок. Он, видимо, чувствовал какое-то беспокойство и неловкость, два раза хотел закурить сигару и, поднося к свечке, бросал ее и морщился.

— Да что с вами, Алексей Афанасьич? — спросил я его, осматриваясь кругом и на замечая в числе гостей никакой особенности, ни даже авторитета, — вы как будто ждете, что ли, кого-нибудь? У вас что-то сегодня необыкновенное...

— Уж не говорите! — возразил он, махнув рукой и улыбнувшись, — я не знаю, собственно, для чего все это (он указал головою на лампы), и меня заставили прифрантиться, как видите. К нам хотел сегодня приехать барон Щелкалов... вы, я думаю, слышали про него? Ну, прекрасно... да что ж он за такая важная птица, чтобы для него и сапоги натягивать, и галстух новый надевать, да и сигары, наконец, не кури! Что мне за дело что он принадлежит к высшему кругу, ведь не я к нему лезу, а он ко мне, следовательно, он должен соображаться с моими привычками... Ну, да женщины, знаете, они на это смотрят иначе... А мы с вами все-таки сигарочку выкурим... я вас угощу отличной сигарочкой, по случаю достал, пойдете-ка ко мне.

Мы хотели уже идти, как вдруг раздался голос Лидии Ивановны:

— Куда это, Алексей Афанасьич, полноте, останьтесь, после накуритесь сколько угодно. Барон скоро приедет, ведь вы хозяин дома... кто же его встретит?

В мягком голосе, с которым произнесены были эти слова, звучала, однако, какая-то пискливая и раздражительная нота. Алексей Афанасьич едва заметно поморщился, но вслед за тем тотчас же приятно улыбнулся, взглянув на Лидию Ивановну, и произнес:

— Ну, извольте, матушка, извольте. Быть по-вашему, никуда не уйду отсюда.

И потом, обратясь ко мне, заметил шепотом:

— Делать нечего... будем сидеть у моря и ждать погоды. Начался общий разговор, но он как-то не клеился. Лидия Ивановна и Иван Алексеич слушали рассеянно, беспрестанно посматривая на часы. Лидия Ивановна несколько даже вздрагивала при звонке, и когда в комнату входил обыкновенный четверговой гость, она с равнодушием кивала ему головой, протягивала руку и говорила: "А-а-а! Это вы?"

Здравствуйте".

Стеснение и неловкость сообщились от хозяев к гостям, которым к тому же хотелось ужасно курнуть, и в душах многих из них, постоянно воспевавших Лидии Ивановне гимны и мадригалы, зашевелились в эту минуту на ее счет ядовитые эпиграммы, а самолюбие еще подстрекало к этим эпиграммам, нашептывая: "Да чем же вы хуже г.

Щелкалова? Отчего же для г. Щелкалова вы должны себя подвергать стеснениям и лишениям? Вам-то что за дело до него?.. Пусть Лидия Ивановна, если угодно, ходит перед ним хоть на четвереньках, да не стесняет для него вас...", и тому подобное.

Пруденский, наклонясь к своему соседу и поправляя глубокомысленно золотые очки, шепнул ему с выражением глубочайшей иронии:

— Что же этот достолюбезный гость заставляet так долго ждать себя! И зачем нас не предупредили? Мы уж облеклись бы в мундиры и с треуголками пошли бы к нему во среденье.

Внутренний ропот и неудовольствие против хозяев накопились в груди гостей с каждой

минутой, а к барону Щелкалову они начинали чувствовать просто неприязненное расположение и ожидали его, как врага.

Уже было половина десятого, но никаких признаков приготовлений к чаю. Пелагея Петровна, в чепце с голубыми бантами, по временам появлялась на минуту в залу взглянуть на часы и потом снова исчезала.

Один из гостей поймал приживалку:

— Послушайте, Пелагея Петровна, — сказал он, — ужасно пить хочется. Что, у вас будет нынче чай или нет?

— Уж не говорите! — отвечала Пелагея Петровна, — помилуйте, два часа все приготовлено. Самовар уже давно кипит, да вот вишь, ждут этого князя, что ли, какого. Слыхано ли, в самом деле, до десятого часа эдак маяться без чаю!

— Да где же приготовлено, — возразил гость, — еще и круглый стол не поставлен.

— Нынче у нас все ведь по моде, так, как в знатных домах, — заметила не без иронии Пелагея Петровна, — чай будут разносить на подносе, а я разливаю в задней комнате.

Пелагея Петровна полагала, что в знатных

домах наливают всегда чай в задних комнатах.

Прошло еще четверть часа мучительных для хозяев ожиданий. Вдруг в исходе десятого часа, в ту минуту, как Лидия Ивановна смотрела на часы, стоявшие на камине, раздался из передней резкий звонок. Она быстро взглянула в зеркало, поправила свои пучошки, прищурила несколько глаза и, обратившись к Алексею Афанасьичу, сделала ему головой значительный знак, указывая на переднюю.

Старик пошел навстречу новоприбывшему.

Пруденский, глубокомысленно поправляя золотые очки, и другие гости, в том числе и я, с любопытством обратились к двери, которая вела из залы в переднюю.

В этих дверях сначала показался господин лет за сорок, одетый щегольски, с большими, туго накрахмаленными воротничками и с развязными манерами, — литературный дилетант, по фамилии Веретенников, изредка появлявшийся по четвергам и более или менее уже знакомый всем нам.

Он принадлежал к тому петербургскому

кружку, который немного повыше среднего и очень пониже высшего. Двоюродная сестра этого господина была замужем за каким-то князем, двоюродным братом одного значительного лица. Это было известно всем, кому хоть сколько-нибудь был известен Веретенников, беспрестанно употреблявший в разговоре такие фразы: *ma cousine princesse N\**, мой зять князь N, граф С — двоюродный брат моего зятя князя N, и так далее.

Желая чем-нибудь обратить на себя особенное внимание своего кружка, Веретенников пустился в литературу, написал небольшой рассказ из светской жизни и прочел его в одном салоне средней руки. Рассказ был найден дамами прелестным, и они в особенности были поражены тем, что на русском языке можно делать недурные каламбуры: у Веретенникова было несколько довольно удачных. Рассказ этот появился впоследствии в каком-то журнале, после чего Веретенников уже вообразил, что русская литература без него обойтись никак не может и что деньги так и посыплются к нему. Ободренный этой фантазией, он начал замышлять роман, при-

ступил к делу и через несколько времени явился с началом романа к журналисту с тем, чтобы запродать свое произведение за какую-то баснословную сумму, заметив, впрочем, что эта сумма назначается им в помощь одному бедному семейству, а что сам он вовсе не нуждается в деньгах, что ему нет необходимости жить собственными трудами, и проч. Начало оказалось, впрочем, так плохо, что его и даром напечатать не было никакой возможности. С этих пор дилетант несколько охладел к литературе, не писал ничего более, а на вопросы своих приятелей: "Что ж, братец, твой роман-то? скоро ли он будет печататься?" — отвечал обыкновенно:

"Я, право, не знаю, мне не хочется связываться с этими журналистами... я напечатаю его отдельно... у них там свои какие-то партии... Я хочу как можно подальше держать себя от этого мира. Ведь не литератором же сделаться мне, в самом деле!.." Знакомство его с Грибановыми совпадает с эпохою печатания его знаменитого рассказа. Много лет прошло после того; все, разумеется, давно забыли о его существовании, а Веретенников до сей

минуты еще повторяет при всяком случае: в моей повести, моя повесть, и пр.

Литераторы не любят Веретенникова, потому что перед ними он корчит светского человека и все толкует о своих приятелях князьях, графах и баронах; а светская молодежь смеется над ним, потому что в кругу ее он корчит литератора.

— Имею честь представить... Барон Щелкалов! — сказал Веретенников хозяину дома, указав на господина, следовавшего за ним, поправив свои воротнички и выставив одну ножку в лакированном сапоге вперед.

Щелкалову казалось лет под тридцать. Он был высокого роста и недурен собой: черные и волнистые густые волосы, черные довольно выразительные глаза, небольшой, немного приподнятый кверху нос и в глазу стеклышко, с которым он как будто бы родился. Одет он был с тою щегольскою небрежностью, к которой тщетно стремятся некоторые франты всю жизнь и так и умирают, не достигая ее; сложен был очень недурно, но держался странно, как будто бы все члены его ослабли, завяли или развинтились: голова, казалось,

едва держалась на плечах, руки болтались, опущенные, спина была несколько сторблена. С первого раза можно, пожалуй, было принять его за больного, но стоило только попристальнее взглянуть на него, чтобы совершенно разубедиться в этом. Смуглое лицо его выражало, напротив, цветущее здоровье и несомненную силу. Человек простой призадумался бы при этом странном явлении, а для человека светского оно не казалось несколько странным и объяснялось очень легко и просто довольно странным словом — шик (du chic). В самом деле, эта слабость, завял ость или развинченность, как хотите, была — шик.

Веретенников сиял от удовольствия, представляя барона Щелкалова. В глубине своей он благоговел перед Щелкаловым и смотрел на него как низший на высшего, потому что Щелкалов посещал такие дома, которые были недостижимы для Веретенникова, и говорил свободно, зевая, заложив пальцы за жилет, с такими дамами, при одной мысли о которых у Веретенникова захватывало дыхание; но свое благоговение, свою внутреннюю подчи-

ненность перед Щелкаловым он скрывал усиленно: смертельно боялся, чтобы какой-нибудь наблюдательный глаз не подметил ее, и поэтому обращался с ним неестественно фамильярно.

Хозяин дома крепко пожал руку Веретенникова и протянул ее к барону не без чувства. Барон слегка и рассеянно пожал ее и начал смотреть на стены в свое стеклышко.

— Милости просим, пожалуйста в гостиную, — говорил старик в некотором замешательстве, — сделайте одолжение.

— Что это? — спросил Щелкалов, не слушая приглашений старика и остановя свое стеклышко на картине, изображавшей какую-то детскую головку. — Копия с Грёза, что ли?

— С Грёза, — воскликнул обрадованный старик. — Ведь прекрасная вещь, не правда ли?

Он растрогался и начал смотреть на картину слезящимися глазами.

— Недурная копия, — продолжал Щелкалов с видом знатока, закладывая руку за жилет и слегка искривив в сторону нижнюю гу-

бу, как бы желая зевнуть. — Вы охотник, что ли, до картин?.. Заходите когда-нибудь ко мне. У меня есть настоящий Грёз... Ты знаешь, Веретенников, князь Чамбаров мне давал за женскую головку три тысячи рублей, но я ее не отдам и за десять.

Лидия Ивановна, выглядывавшая из дверей гостиной, следила с любопытством за движениями гостя и прислушивалась к его речам, стараясь, впрочем, скрыть это от других гостей и казаться совершенно равнодушною.

— У моего приятеля есть настоящий портрет Грёза, писанный им самим...

Удивительный портрет... Ты знаешь, Веретенников, — у Левушки?

Проговорив это, как-будто бы кто-нибудь заставлял говорить его насильно, Щелкалов, лениво волоча ноги, сделал несколько шагов вперед и очутился в самых дверях гостиной.

Веретенников юркнул вперед и представил его Лидии Ивановне.

Щелкалов, не выпуская из глаз стеклышка, слегка наклонил голову в ответ на ее французское приветствие.

— Вот, барон, моя дочь, — сказал Алексей Афанасьич, — а вот и сын, вы с ним, кажется, уже знакомы; милости прошу садиться, — и старик подставил ему кресла.

— Теперь пора бы и чайку, — продолжал он, взглянув на Лидию Ивановну.

Лидия Ивановна бросила косвенный взгляд на Алексея Афанасьича и чуть-чуть пожала плечами, как бы желая сказать этим: "Да когда же вы будете уметь себя вести при чужих как следует?" Между тем Щелкалов протянул руку сыну и заговорил, не обращаясь, впрочем, ни к кому и все посматривая на потолок в свое стеклышко, хотя потолок не представлял ничего особенного.

— Как же, мы старые знакомые... Ну что, батюшка, не написали ли вы чего-нибудь новенького?.. У вас славный стих!

Стеклышко барона с потолка перешло на хозяев и потом на гостей... Он начал всех нас рассматривать с такою беззастенчивостью, с какою обыкновенно рассматривают неодушевленные предметы. В это время Веретенников заливался, как соловей: рассказывал анекдоты, цитировал известные рукописные

эпиграммы и вообще блистал любезностью. Зашла, между прочим, речь о странностях покойного Крылова. Лидия Ивановна ловко этим воспользовалась, обратилась к барону с приятнейшею улыбкою и сказала по-французски:

— Я слышала, барон, что вы также занимаетесь поэзией?

— Да, так иногда, от нечего делать, — отвечал барон по-русски. — У меня есть маленькая способность писать стихи... ваш сын находит тоже.

Щелкалов писал стихи в альбомы разным дамам и был, говорят, совершенно убежден, что ему стоило только небольшого усилия, маленького труда для того, чтобы стать наряду с Пушкиным и Лермонтовым. Этим отчасти объяснялось его внезапное появление в литературном и артистическом семействе Грибановых.

— Я надеюсь, барон, что вы будете так добры, прочтете нам что-нибудь, — продолжала Лидия Ивановна, заиграв глазами, как во время оно, и устремляя их на Щелкалова.

— Пожалуй, — произнес небрежно Щелка-

лов; не смотря на нее и закинув голову назад; продолжал, как будто про себя: — У меня много стихов... что бы вам прочесть?.. постойте... постойте...

— Прочти, братец, — возразил Веретенников, — последние твои стихи в альбоме графини Воротынцевой... C'est charmant! c'est charmant!

— Да, как бишь они начинаются?.. У меня такая плохая память...

Я вам скажу, я вам скажу...

— О нет, не так, — перебил Веретенников, — ты врешь.

Сказать, графиня, что вы милы...

— Ах, да, да, да!

*Сказать, графиня, что вы милы,  
Что вами наш гордится круг;  
Что вы как солнце; что светилы  
Все остальные меркнут вдруг,  
Поглощены огнем и светом  
Чудесной вашей красоты,  
Что ароматом вы и цветом  
Затмили лучшие цветы.  
— Цветок роскошный и прелестный!  
Но это всем давно известно.*

*Нет, лучше это позабыть  
И с безмятежностью чинной  
Любовью кроткой и невинной,  
Любовью братской вас любить!*

Продекламировав эти стихи с сильными ударениями и с некоторою торжественностью, Щелкалов обвел взором все собрание с таким самодовольствием, как будто бы хотел сказать: "Ведь вот вы здесь, верно, все литераторы, а попробуйте написать так!" — Ах, как это грациозно! — воскликнула Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам.

Иван Алексеич смотрел в глаза Щелкалову во время декламации с большою приятностью, покачивая в такт головою, что не мешало ему, однако же, заметить соседу шепотом:

— Пошлые стишонки... И ведь вот чем забавны эти господа: напишут какой-нибудь мадригальчик, думают, что сделали дело, и счастливы.

Все мы, за исключением Веретенникова и дам, присутствовавших тут, разделяли, кажется, о стихах Щелкалова мнение, сообщенное на ушко Иваном Алексеичем. Все мы с

некоторым внутренним негодованием и отчасти даже со злобою, смотря на него, думали: "Вот пустейший-то господин!", но если Щелкалов обращался во время разговора к кому-нибудь из нас, он встречал и приветливый ответ, и привлекательную улыбку... Признаться, мы несколько завидовали его смелости. Мы, которые были чуть не с детства знакомы в доме, чувствовали себя не совсем свободными с Надеждой Алексеевной и даже иногда не находили предмета для разговора с нею; а он, в первый раз в жизни видевший ее, уже сидел возле нее, наклонясь к самому ее плечу, приняв живописно небрежную позу, и так свободно разговаривал, как будто бы век был знаком с нею, так смело и дерзко глядел на нее, что бедная девушка должна была даже вспыхивать и потуплять глаза.

— У вас, говорят, очень приятный голос. Правда это? — спросил он ее.

— Нет, — отвечала Наденька, — я пою дурно.

— О! Будто?.. Ну спойте что-нибудь; я вам скажу правду.

— Ни за что.

— Вы капризничаете. А вот я пожалуюсь на вас папеньке или тетеньке... Это ваша тетенька?.. Что! вы, я думаю, боитесь ее?.. Хотите, я буду вам аккомпанировать?

И Щелкалов подошел к роялю, взял несколько аккордов, сам что-то такое промурлыкал и между тем смотрел на Наденьку, как бы вызывая ее.

Лидия Ивановна начала упрашивать барона, чтобы он спел, говоря, что она очень много наслышана об его удивительном голосе; Алексей Афанасьич присоединил к этому свою просьбу.

— Пожалуй, но с условием, — возразил Щелкалов, обратясь к старику, — чтобы потом нам спела что-нибудь ваша дочь... Иначе я не пою.

— Слышишь, Наденька? — сказал старик, обращаясь к ней с улыбкою...

— Я надеюсь, Nadine, что ты исполнишь просьбу барона? — прибавила Лидия Ивановна.

Наденька была в замешательстве и молчала.

— Она будет петь, я вам даю за нее сло-

во, — произнесла Лидия Ивановна.

— Ну, в таком случае, хорошо... Видите ли, я не так капризен, как вы, — прибавил он, обращаясь к Наденьке, и, пробежав руками по клавишам, запел:

Я видел деву на скале...

У Щелкалова был не столько приятный, сколько сильный голос, и пропел он не без эффекта.

Как водится, раздался гром рукоплесканий, когда он кончил, и даже Пруденский, все время искоса смотревший на него в свои очки, воскликнул: "Превосходно!" и заметил мне шепотом: "Хотя пустой человек, но несомненно обладающий светскими талантами...", и при этом глубокомысленно поправил свои золотые очки.

Наденька пропела какой-то романсик дрожащим голосом, Щелкалов перевертывал ноты и говорил ей вполголоса одобрительным тоном: "Brawo! Brawo! Charmant... только посмелее!" А молодой человек, влюбленный в нее, стоял как убитый, прислонившись к печке, и от времени до времени бросал сердитые взгляды на Щелкалова. Другой романс На-

денька спела уже гораздо лучше. Щелкалов торжественно объявил, что у нее голос превосходный, чистейший *soprano*, и что ему недостает только методы и обработки... В заключение он спел с ней дуэт, не помню из какой-то итальянской оперы, и сказал, пристально взглянув на нее в свое стеклышко, взяв ее руку и крепко пожав ее:

— Право, недурно!.. Учитесь, — продолжал Щелкалов, — у вас отличные музыкальные способности. Хотите взять меня в учителя? — прибавил он, улыбаясь и нимало не обращая внимания на ее замешательство.

Лидия Ивановна была в восторге от барона; он был героем этого вечера;

Веретенников — его наперсником, а все мы остальные — статистами.

Этот вечер живо врезался мне в память со всеми мелкими подробностями. У меня как теперь перед глазами Макар, единственный лакей Грибановых, — рослый, неуклюжий, нечистый, всегда ходивший в длинном сюртуке и с голыми руками, — вдруг появившийся во фраке, в нитяных перчатках, с серебряным подносом и с особенно торжественно-

стью на лице, прямо направлявший шаги свои мимо дам к Щелкалову, и невиданный до тех пор в доме казачок, также в нитяных огромнейших перчатках, следовавший за Макаром с другим подносом, усыпанным различными хитрыми сухариками, крендельками и печеньями. Я никогда не забуду удивления Макара, когда Щелкалов отказался от чая, и его вопросительных взглядов, переходивших от барона к Лидии Ивановне и обратно; трех безмолвных барышень, сидевших рядом и как две капли воды похожих одна на другую, переглядывавшихся между собою при каждом слове и движении Щелкалова, и четвертую, постарше первых трех, пребойкую особу с двойным золотым лорнетом на цепочке, с взбитыми спереди и закинутыми назад волосами, которая после Девы на скале, пропетою Щелкаловым, шепнула первым трем так, что я мог ясно слышать: "Ах, mesdames, просто чудо, душка!.." Щелкалов, разлегшись в креслах, начал что-то рассказывать, и все слушали его, затаив дыхание; потом он встал, рассеянно подошел опять к роялю, заиграл польку и вдруг остановился, не кончив ее;

стал посреди залы, осмотрел барышень в свое стеклышко с ног до головы и, обращаясь к Лидии Ивановне, сказал:

— А что, из них кто-нибудь полькирует?

Все мы были поражены этим странным вопросом, особенно тоном, с которым он был предложен, а Пруденский, поправив свои очки, заметил:

— Это уже, кажется, переходит за ту черту, которая разделяет светскость от наглости... — И при этом прибавил с иронической улыбкою: — От великого до смешного один шаг.

Даже восхищенные Щелкаловым барышни, по-видимому, несколько оскорбились этим вопросом, и бойкая барышня с двойным лорнетом, ловко играя им, заметила пофранцузски, несколько прищулив глаза и не обращаясь к барону:

— Да что ж за новость танцевать польку? (Хотя полька, надобно заметить, была точно в то время еще новостью.) — А вы танцуете? — спросил Щелкалов, обратясь к ней. Барышня засмеялась громко и не без аффектации обвела взором все собрание, как бы желая обратить внимание на свою смелость, и сказала

очень резким тоном:

— Ну да. Что же из этого?

— Ничего особенного, — возразил Щелкалов, — кроме того, что в таком случае я желал бы сделать с вами один тур.

И он, без дальнейших объяснений, обвил одною рукою стан барышни и, повернув голову назад, спросил:

— Кто ж будет играть?

— Nadine, сыграй ты! — воскликнула Лидия Ивановна.

Наденька села за рояль. Все отодвинули свои стулья к стене. Раздались звуки польки, и Щелкалов, не выбрасывая из глаза стеклышка, начал извиваться по комнате со своею дамою. Это продолжалось довольно долго, потом он несколько раз перевернул ее и почти бросил на стул.

— С вами полькировать очень ловко, — сказал он, — после графини Высоцкой вы полькируете лучше всех, с кем я танцевал.

Бойкая барышня замерла от восторга при этом замечании. Она подошла к своим безмолвным и робким подругам и что-то шепнула им, закатив зрачки под лоб от умиления, и

потом нахмурила брови и с презрительною гримасой кивнула головой в нашу сторону.

Я угадал этот шепот.

Барышня шептала:

От него (т. е. от барона) можно с ума сойти, это уж не то, что ваши неуклюжие-то ученые (т. е. мы).

Часу в первом в исходе, в то время, когда уже в зале накрывали на стол и Пелагея Петровна бегала впопыхах за кулисами, бранясь с Макаром и подирая за уши казачка, Щелкалов взялся было за шляпу. У Лидии Ивановны выступил холодный пот ужаса.

— Барон, что это вы? куда вы? — воскликнула она. — Сейчас подадут ужин... Не угодно ли вам будет чего-нибудь закусить, так, за-просто, по-домашнему?

— Я никогда не ужинаю, — отвечал барон, — и к тому же что-то нехорошо себя чувствую... да и пора уже.

Барон взглянул на часы и зевнул.

— Я прошу вас, останьтесь, барон, — продолжала Лидия Ивановна, — может быть, вам придет аппетит и вы чего-нибудь скушаете. М-г Веретенников, я вас ни за что не пущу.

И Лидия Ивановна с любезностью отняла у него шляпу.

— Попросите барона, чтобы он остался, — прибавила она самым сладким и вкрадчивым голосом.

— Послушай, — сказал Веретенников барону, отведя его несколько в сторону, — в самом деле, останься, неловко... Они ведь для тебя, я думаю, состряпали неслыханный ужин, разорились!.. Ты, если не хочешь есть, то хоть посмотри на него. Все же им будет легче. Зачем этих бедных людей приводить в отчаяние?..

Останься...

— Ты думаешь? — возразил Щелкалов, зевая, — пожалуй. И он бросил свою шляпу, к несказанному удовольствию Лидии Ивановны.

— А знаете, — произнес Пруденский, обращаясь к сидевшим возле него, в том числе и ко мне, и понюхивая табак с расстановкой и глубокомысленно, потому что Пруденский делал все, даже и нюхал табак, глубокомысленно, — знаете, что нет худа без добра. Пословицы всегда верны, это практические выводы народной жизни.

Если бы здесь не было сегодня этого ловкого светского фата, мы не имели бы такого ужина, который нас ожидает. Я предвижу, что это будет нечто вроде фестеня.

Ужин был действительно необыкновенный: четыре блюда под различными, весьма хитрыми украшениями, из которых некоторые представляли вид бастионов, а другие походили на готические башни; нога ветчины была завернута в султан, искусно вырезанный из цветной бумаги, а желе было иллюминировано стеариновым огарком, вставленным внутрь его дрожащих стенок. Повар обнаружил если не поварской, то по крайней мере архитектурный талант. Первое почетное место по правую руку от Лидии Ивановны приготовлено было для барона. Лидия Ивановна указала ему рукой на это место, приглашая его сесть; но он искусно отделался от этого, посадив вместо себя Веретенникова, а сам сел между Наденькой и смелой барышней с двойным лорнетом. Он не ел почти ничего и даже не снимал салфетки с своего прибора, к великому огорчению Лидии Ивановны, которая беспрестанно обращалась к нему:

— Отведайте этого, барон... Вот это блюдо самое легкое... выкушайте вот этого вина... и прочее.

Но барон не слушал этих любезных приглашений; он что-то такое нашептывал в это время своим соседкам, из которых одна все краснела, а другая все фыркала от смеха. Несмотря на это, Лидия Ивановна беспрестанно мигала Алексею Афанасьичу, чтобы тот наливал вино барону. Все рюмки и стаканы, стоявшие перед Щелкаловым, уже были полны, и Алексей Афанасьич принужден был наливать ему в стаканы барышень.

— Что это за батарея? — вдруг воскликнул Щелкалов, улыбаясь и взглянув в свое стеклышко на стоявшие перед ним стаканы и рюмки, наполненные разноцветным вином.

— Это все мне?.. Вы полагаете, что я все это выпью?

— Отведайте вот хоть красненького, отличный лафитец, — отвечал добродушно Алексей Афанасьич, — тончайшее винцо!

И как бы соблазняя барона, старик отпил из своего стакана, чмокая губами.

Щелкалов поднес свой стакан ко рту и

только помочил губы... Зато Пруденский, не угощаемый никем особенно, ел и пил с величайшим аппетитом, придерживаясь из вин в особенности мадеры.

"Это вино здоровое, укрепляющее, полезное для желудка, — замечал он, — способствующее пищеварению"; хотя укреплять Пруденского и способствовать пищеварению его желудка было совершенно излишне, потому что этот желудок мог переварить камни.

К концу ужина Лидия Ивановна значительно взглянула на Макара; Макар утвердительно кивнул ей головой в ответ и явился через минуту с бутылкой, обернутой в салфетку. Ему было настрого приказано от Лидии Ивановны откупорить бутылку без шума, но Макар не выдержал искушения: пробка выстрелила и взлетела к потолку с таким эффектом, что все гости, не исключая даже Пруденского, вздрогнули, а Лидия Ивановна помертвела, бросив глубоко значительный взгляд на Алексея Афанасьича и пожав плечами.

Щелкалов чокнулся своим бокалом с бокалом Наденьки, а молодой человек, влюбленный в нее, сидевший напротив и следивший

за малейшим ее движением, беспрестанно изменялся в лице от внутренней тревоги. Он видел, что Наденька перестала дичиться Щелкалова, что она свободно и непринужденно разговаривает с ним, что его общество даже приятно ей. Он видел, что Щелкалов особенно ухаживает за Наденькой; но он не видел того, что в добавление всего этого видел я, хладнокровный наблюдатель: досады, выражавшейся на лице смелой барышни с двойным лорнетом, оттого что Щелкалов более оказывал внимания Наденьке, нежели ей, и тех иронических взглядов, которые барышня иногда бросала на Наденьку.

После ужина Щелкалов, с шляпой в руке, вдруг сказал, обращаясь к Наденьке:

— Ах, да! я вам говорил давеча о романсе, который я положил на музыку. Хотите иметь понятие о моем музыкальном даровании?

И не дожидая ответа, снял перчатку, бросил шляпу, сел к роялю, остановился на минуту, задумался и запел:

*Любил твой голос кроткий, нежный,  
Задумчивый, туманный взгляд,*

Твой локон, вившийся небрежно,  
И твой обдуманый наряд...  
Тебя любил, тебя любил!  
Любил я слушать твои речи,  
Твои движенья подмечать,  
Смотреть на стан твой и на плечи  
И взгляд твой пламенный встречать...  
Тебя любил, тебя любил!  
Любил, когда в разгаре бала,  
По скользким лаковым полам,  
Ты, упоенная, летала,  
Взгляд посылая гордый нам...  
Тебя любил, тебя любил!  
Любил, когда в уединенье,  
В таинственный полночи час,  
Ты говорила мне в смятенье:  
"Скажи, кто счастливее нас?"  
Тебя любил, тебя любил!  
Всегда, везде — и в зале шумной,  
В карете, в ложе, на коне,  
И наяву и в сладком сне,  
Любовью страстной и безумной  
Тебя любил, тебя любил!

При последнем повторении тебя любил! —  
голос Щелкалова обратился в неистовый  
крик и вопль, который, однако, произвел

невообразимое впечатление на слушателей.

— Bravo! bravo! — раздалось со всех сторон.

— Ravissant! — шепнула бойкая барышня с лорнетом.

— Bravissimo! — прибавил многозначительно Пруденский. — И в словах много страсти. Позвольте, это ваши собственные слова? — сказал он, обратясь к Щелкалову.

Щелкалов не заметил этого вопроса.

— Этот романс, — произнес он как будто про себя, — напоминает мне очень многое!

И он провел рукою по лицу, встал со стула, схватил шляпу, с нетерпеливым волнением начал натягивать перчатку, разорвал ее и бросил, взглянул на часы, проговорил себе под нос: "Пора!", раскланялся Лидии Ивановне, пожал руку Наденьке и, кивнув остальным головою, обратился к Веретенникову:

— Едем... Ты ведь меня везешь в своем экипаже?

— Я надеюсь, барон, что это не в последний раз, сделайте одолжение, мы всегда рады, — раздавалось вслед за ним.

Алексей Афанасьич, проводив почетных

гостей, возвратился из передней, неся в руке галстух и дыша как будто свободнее. Нам всем также стало полегче.

Наступила минута молчания.

— Вот нападают на светских людей, — произнесла, наконец, Лидия Ивановна в раздумье, — а нельзя не сознаться, что в них много ума и талантов!

— Да, это правда, — возразил Алексей Афанасьич, — только все-таки эти господа хороши изредка.

— Это почему? — спросила Лидия Ивановна недовольным голосом.

— Потому, матушка, что хорошенького понемножку, — отвечал он, улыбнувшись.

## Глава III

# Биографический очерк барона Щелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом «Хлыщ»

У меня есть знакомый — человек очень богатый, светский и умный. В свете его не любят и говорят, что у него злой язык, но свет за ним ухаживает именно потому, что он богат и зол. Свет его боится. Имеет ли он злой язык действительно — я не знаю; он просто видит вещи в настоящем их свете, владеет юмором и высказывает свое мнение обо всем и обо всех прямо, не входя ни в какие соображения и расчеты.

Через несколько времени после знаменитого вечера у Грибановых я встретился у него с бароном Щелкаловым. Это было утром.

Щелкалов лежал, развалясь в креслах, с сигарой в зубах и с стеклышком в глазу.

Хозяин назвал нас друг другу по имени.

Барон слегка приподнялся, сделал движение головою и потом снова упал в кресло и начал меня рассматривать в свое стеклышко с ног до головы.

— Я, кажется, имел удовольствие видеть вас недавно, — сказал я.

Он сначала вопросительно и с недоумением посмотрел на меня, потом сказал сквозь зубы:

— Очень может быть... где же это?

— У Грибановых, — продолжал я.

Он сделал вид, как будто припоминает, что это такое Грибановы.

— Ах, да, — проговорил он через минуту, — Я был там.

В этот раз Щелкалов показался мне проще. Он ломался несравненно менее; все, что говорил, говорил неглупо, но хотя разговор был общий, он редко обращался ко мне, и то всякий раз как будто нехотя.

В третий раз я почти нечаянно натолкнулся на него в театре, в тесноте, во время антракта, и поклонился. Он едва кивнул мне в ответ головой, потом взглянул на меня так, как будто хотел спросить:

"Что ты за человек и каким образом я могу быть знаком с тобой? и зачем ты беспокоишь меня?" После этого я часто встречался с ним в театре, на улице, у нашего общего знакомого, но я уже не кланялся ему и не говорил с ним. Он также не обращал на меня ни малейшего внимания.

Так прошло месяца два. В один вечер, в фойе Большого театра, кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся и увидел перед собою Щелкалова.

— Ну что, как вы поживаете? Вас что-то не видно... А вы любите музыку?

И прежде, нежели я успел удивиться, он продел свою руку в мою, потащил меня за собою по залам и начал рассказывать мне о частной жизни примадонны, которая производила тогда фурор в Петербурге, об ее уме, образовании, о его дружбе с нею, о том, как она ценит его музыкальные познания и как слушается его замечаний. Надобно заметить, что это было при самом начале антракта, когда в залах почти еще не было никого. Вдруг в самом жару его рассказа появился в конце залы какой-то молодой человек в мундире с ак-

сельбантами. Щелкалов, увидев его, остановился на полслове, бросил мою руку, как будто испуганный чем-то, и пошел к нему навстречу, делая приветливые знаки рукою.

Он прошелся с ним раза два по зале, и когда молодой человек с аксельбантами оставил его, Щелкалов, остановившись среди залы, обозрел ее кругом в свое стеклышко, опять подошел ко мне и сказал:

— Ужасно душно... пить хочется... У вас есть мелочь, дайте мне... я забыл.

Я молча подал барону четвертак, и он направил шаги к буфету.

Такое поведение барона Щелкалова казалось мне в то время, по неопытности, необъяснимым. Я мало тогда видал такого рода господ, и его личность казалась мне даже оригинальною. Впоследствии я коротко уже познакомился с этою личностью, в разных экземплярах.

Вот кое-какие сведения, собранные мною от разных лиц о Щелкалове, перемешанные с тем, что я сам видел собственными глазами и слышал собственными ушами.

Каким образом, когда и почему к фамилии

Щелкаловых присоединен баронский титул, — этого я не знаю; дело в том, что его душа нажил вдруг огромное состояние.

Говорят, большие богатства никогда не наживаются правдой; но это говорят те, у которых ничего нет. Отец Щелкалова прожил почти все, что нажил дед. Отец задавал неслыханные обеды и ужины, с персиками, сливами, земляниками и клубниками среди зимы в лесу из померанцевых деревьев; мифологические празднества, о которых до сих пор рассказывают старики молодому поколению как о седьмом чуде. Щелкалов был счастлив мыслию, что ни одна из известностей и знаменитостей того времени не миновала его порога, что даже сам князь N, не удостоивший посетить никого в течение по крайней мере тридцати лет, изволил посетить один из его праздников, ко всеобщему изумлению, и, уезжая, приложил руку к губам, сказав ему:

— Прекрасно, очень хорошо: ты человек со вкусом. Причем у Щелкалова брызнули слезы из глаз... В городе в течение по крайней мере месяца только и разговоров было, что о празднике барона Щелкалова, на котором присут-

ствовал сам князь N, да о словах, сказанных барону князем N. Барон после этого начал пользоваться еще большим уважением: на него стали слаще глядеть, ему стали крепче жать руку и говорили, значительно покачивая головою.

— С ним, батюшка, шутить нечего. К нему ездит сам князь N!

Барон до конца жизни с умилением рассказывал об этом необыкновенном событии. Еле движущийся от паралича, полузабытый всеми, старик повторял со вздохом:

— Ну, по крайней мере пожил! сам князь N удостоил однажды мой праздник!

Единственный сын барона Щелкалова воспитан был в баловстве и роскоши. Из кружев и из блонд он уж в колыбели смотрел гордо. С четырех лет начали ему втолковывать нянюшки, мамушки, приживалки и дядьки, что отец его лицо необыкновенно важное, что к нему ездит сам князь N, что у них несметное богатство, что он единственный наследник, и прочее, и прочее. Его предполагали воспитывать не иначе, как за границей: по крайней мере баронесса-мать непременно

требовала этого. За границу уехали, но по прошествии трех лет должны были воротиться в отечество, потому что дела барона пришли в расстройство. В это время малютке было лет десять. Щелкаловы продолжали жить, хотя не с прежнею роскошью, но еще довольно открыто. Между тем имение за имением продавалось.

Десятилетний наследник этих незаметно таявших богатств был очень хорошенький мальчик. Ему всякий день завивали волосы пуклями, которые спускались до плеч, водили его в шелку, в батисте, в бархате, в перьях и в соболях по Невскому проспекту. Он обнаруживал при том значительные таланты: болтал на нескольких языках, прекрасно танцевал и на детских балах производил фурор: влюблялся, волочился и во всем очень искусно передразнивал больших. От него все были в восторге.

Лет шестнадцати он поступил в высшее учебное заведение; это было после смерти его матери, которая, говорят, не могла перенести расстройства состояния.

Товарищи не полюбили барона, потому

что он не умел обращаться ровно: то подделывался к ним неизвестно для чего, то вдруг начинал важничать и принимать гордые позы. Средства у него в то время были небольшие, но он всегда терся около тех, которые побогаче и позначительнее, и начал прибегать к займам у мелких ростовщиков за огромные проценты. Окончив воспитание, он появился в свете и был замечен. Нашли, что он воспитан недурно. В самом деле, он говорил по-французски, как француз, играл на фортепьяно и пел, сочинял русские и французские стишки, отличался во всех спортах: ездил верхом, стрелял, плавал; был вообще очень смел и развязен, умел одеваться с шиком и без гроша в кармане казаться богачом. Все эти достоинства и молодежь, которою он был окружен, доставили ему кредит, который он первое время после смерти отца несколько поддерживал продажей пятисот заложенных душ из восьмисот, доставшихся ему.

Эта продажа дала ему еще возможность блеснуть в Петербурге на короткое время — орловскими рысаками, английскою кобылой, гамбсовскими мебельями, своим старинным

серебром, лакеем в ливрее с гербами и в плюшевых красных панталонах с штиблетами.

Он носился по Невскому на рысаках, которые бросали молнии из-под копыт, подпрыгивал на английской кобыле как истый спортсмен; играл на вечерах и в клубе в карты по большой с людьми значительными или с известными игроками и вел жизнь такого рода до тех пор, покуда средства его почти совсем истощились. Тогда он начал закладывать вещи.

Заложив свое старинное серебро и кубки, барон в первый раз встревожился, но его прежде всего беспокоило то, что в столовой опустели этажерки; он долго думал, чем бы установить их, и отправился наконец к Нигри, купил дюжину японских тарелок, севрское блюдо и несколько китайских кукол на деньги, отложенные для уплаты какого-то долга. На минуту позабавив себя этими игрушками и полюбовавшись эффектом, который они производили на этажерках, Щелкалов повесил голову и призадумался о своем положении. Он думал довольно долго, потом вскочил со стула, махнул рукой и сказал са-

мому себе:

— Э! да, впрочем, что ж такое? все как-нибудь обойдется. Люди с такими связями и с таким именем, как у меня, не погибают!

Несмотря, однако, на эту счастливую мысль, он решил вести жизнь порасчетливее и поумереннее, поддерживая, разумеется, насколько можно свое достоинство, то есть те аксессуары, без которых нельзя же существовать порядочному человеку. Он дал себе слово не играть в карты и определил в голове очень благоразумно не только вообще свой бюджет, но даже и свои дневные издержки. Барон не держал у себя стола и почти постоянно обедал у Леграна, который тогда только что появился. Осуществление своих экономических планов он решил тотчас же начать с Леграна и отправился обедать с намерением спросить обыкновенный обед с полубутылкой столового вина.

Войдя в первую комнату, барон приостановился на минуту; не снимая шляпы, кивнул небрежно хозяину ресторана и с своим стеклышком в глазу, медленно и раскачиваясь, направил шаги свои в следующую комнату,

где обыкновенно обедал. В этой комнате, как нарочно, сидели два господина, да еще знакомые ему. При виде их экономические планы барона разлетелись мгновенно, как дым. Щелкалов почувствовал неудержимое желание во что бы то ни стало блеснуть перед этими господами и озадачить их. Он прикинулся, будто не узнает их, и, остановясь посреди комнаты и не снимая шляпы, стал рассматривать их в свое стеклышко; потом промычал длинное Аа! сбросил с себя пальто и, все-таки еще не снимая шляпы, подсел к их столу.

— Я могу обедать за этим столом? — произнес он небрежно и потягиваясь.

— Сделайте одолжение, — отвечали знакомые. Человек принес ему карту, но он с презрением оттолкнул ее и закричал:

— Позвать Леграна. Что ты мне суешь карту?.. Разве ты не знаешь, что я никогда не обедаю по этой глупой карте?

Легран явился перед бароном с не совсем, впрочем, довольной физиономией.

— Ну, что у вас есть сегодня? — спросил его Щелкалов по-французски.

Легран начал ему пересчитывать различ-

ные блюда. Он слушал его рассеянно, делая по временам гримасы, а между тем глубокомысленно обдумывал обед. Это продолжалось по крайней мере минут десять. Наконец, изобретя обед идеальной тонкости, он велел подать лафит рублей в восемь, поставить на лед бутылку шампанского и закричал на людей:

— Что с вами? вы сегодня как сумасшедшие... Разве вы не знаете, что я не пью из этого стекла? Принести тонкое стекло.

И, завернув рукава своего сюртука, из-за которого выглядывало тончайшее белье с драгоценными запонками, принялся кушать.

Встреча с знакомыми обошлась ему рублей в двадцать... Когда после ликера ему подали счет, он вынул из кармана своих панталон пук смятых ассигнаций, бросил на стол сторублевую бумажку и, наливая бокалы знакомым, сказал:

— Я здесь всегда плачу чистыми деньгами... Эти счета преопасная вещь... Мне раз подали счет и приписали рублей пятьсот лишних.

Когда барону принесли сдачи, он дал человеку целковый на водку.

Потом, увидев других знакомых, более приятных, т. е. более значительных, тех, которых барон обыкновенно звал уменьшительными именами, он отправился в их компанию, спросил еще бутылки две шампанского, приказал эти уже записать на счет, потом захал на минутку, по дороге в театр, к одному из них, сел играть в карты и остался до глубокой ночи: проигрывал, бесился, проклинал свою слабость и продолжал играть в надежде отыграться, забыв все свои благоразумные планы, оперу и все на свете.

У Щелкалова были еще тогда абонированные кресла во втором ряду. Я особенно любил его в театре. Он никогда не входил в театральную залу прежде половины первого акта. Со своим вечным стеклышком, всегда во фраке, а иногда в белом галстуке, в такие вечера, когда были большие балы, он волочит, бывало, ноги, несколько раскачиваясь, и посматривает беспечно кругом на ложи и на кресла в свое стеклышко. Дорогою поклонится какой-нибудь великолепной даме, дружески кивнет головой в пух разряженной m-lle Камиль, улыбнется с едва заметною гримасой

также в пух разряженной Дарье Александровне, скажет приятелю, сидящему в креслах, довольно громко, так, чтобы все слышали: "А ты сегодня на бале? Едем отсюда вместе..." И, довольный произведенным им эффектом, разляжется в кресла.

Во время спектакля он еще непременно начнет разговор знаками с m-lle Камилль или с Дарьей Александровной, так, чтобы это все заметили и все видели его отношения к этим дамам. Щелкалов в каждую данную минуту рисовался и усиливался обращать на себя внимание. У него было рассчитано каждое движение, каждое слово, каждый взгляд; он как будто беспрестанно боялся, чтобы его хоть на мгновение не смешали со всеми, и, казалось, говорил толпе: "Между мною и вами нет ничего общего. Не подходите ко мне близко, но, если хотите, любуйтесь мною издали!" Он в то же время добивался из всех сил, чтобы казаться совершенно равнодушным ко всему и несколько утомленным жизнью, боялся обнаружить какое-нибудь внутреннее движение или чему-нибудь удивиться... Но увы! никак не мог постоянно выдер-

живать такой роли и, сознавая это, мучительно завидовал одному тупому господину, который, вследствие неусыпного стремления к хорошему тону, достиг наконец до того, что превратился в совершенную куклу, в автомата, едва удостоившего своим взглядом людей и природу, едва говорившего, едва слушавшего, недоступного ни к каким человеческим движениям и ощущениям и не позволившего бы себе, из уважения к хорошему тону, моргнуть лишний раз даже и в таком случае, если б мир вдруг стал разрушаться...

Щелкалов понимал всю нелепость этого господина, весь его комизм, всю смешную сторону так называемого хорошего тона. Он очень остроумно смеялся над светом, над его обыкновениями и приличиями, даже изредка над самим собою и между тем боялся на шаг отступить от этих условий и беспрекословно подчинялся им: запутывался, разорялся, лгал, обманывал, и все из одной мысли не быть смешным в глазах этого света, над которым сам смеялся. Благоразумные намерения его вести жизнь поскромнее и поумереннее, заняться каким-нибудь делом, служить — от-

кладывались со дня на день. Ни один из его опытов не удавался. Один раз он более месяца занимался службой очень усердно. Это заметили, и ему поручили какое-то дело, но, как нарочно, в это самое время m-лле Камилль потребовала, сама не зная зачем, чтоб он каждое утро непременно являлся к ней... Щелкалов бросил дело и ездил к ней каждое утро, сам не зная зачем, хотя всем и каждому говорил, что эта Камилла до того надоела ему, что он не знает, куда от нее деваться. По мере того, как обстоятельства его делались хуже и стеснительнее, его манеры и тон становились важнее и нестерпимее. Они доходили даже до некоторого цинизма и наглости, под которыми барон хотел скрыть свои плохие обстоятельства. Он продал своих лошадей и экипажи, говоря одному, что хочет ехать в чужие края, другому — что едет в свои деревни, третьему — что ему досталось имение от какого-то небывалого родственника и он отправляется за получением этого имения. Он путался на каждом шагу и занимал уже без всякой застенчивости и совести у кого ни попа-ло, по большей части у молодых и богатых

людей, только что вышедших из-за школьной скамейки. Он променял общество своих сверстников, которые начинали смотреть на него не совсем приветливо, на ватагу шумной молодежи, которая приняла его с распростертыми объятиями и перед которой он хвастал и ломался немилосердна, не прибегая даже к хитростям для закрытия этого хвастовства. Он приобрел между ними значительный авторитет, потому что представил их ко всем возможным Камиллам и Дарьям Александровнам, где был как дома. Под тридцать лет сделался для этих господ театралом и не пропускал ни одного балета, неразлучно обедал и ужинал с ними в ресторанах и для укрепления своего авторитета даже пил вместе с ними, хотя не чувствовал никогда к вину ни малейшего расположения.

Иногда во время обеда или ужина он вдруг обращался к приятелям:

— Господа, нет ли у кого из вас денег? Дайте мне.

Приятели никак не могли подозревать, чтобы барон нуждался и чтобы он был способен прибегать к таким опозлившимся и уста-

релым проделкам, и наивно спрашивали:

— Сколько?

— Разумеется, чем больше, тем лучше. Давайте сколько у вас есть, — отвечал Щелкалов. — Мне не хочется заезжать домой, а я вам после скажу, на что мне нужны деньги.

Все бумажники вынимались, и всякий наперерыв спешил удовлетворить его желание.

Щелкалов без церемонии забирал деньги, с величайшим презрением и небрежностью засовывая их в карман, как будто какую-нибудь дрянь, вовсе бесполезную ему.

— Я сейчас съезжу только на минутку, — говорил он, — а вы подождите меня здесь.

— Нет, не езди... Останься... после... — раздавалось со всех сторон.

И барон оставался, не возвращая, однако, взятых им денег. Потом, месяца два или три после этого, он повторял им от времени до времени:

— Господа, я вам что-то должен, кажется?... сколько? Пожалуйста, напомните мне когда-нибудь у меня...

Сколько раз, бывало, это уж я видел и слышал сам: он в маскарадах, не находя своей

обычной компании, без гроша и без кредита, только с одним аппетитом, шляется, бывало, наверху, там, где ужинают, со своим стеклышком и высматривает в него знакомых, тех, которые позастенчивее. Высмотрит таких и подойдет к их столу.

— Что, господа, — произнесет он с необыкновенною важностью и еще искривит несколько рот для улыбки, — кто из вас хочет меня угостить ужином? а?..

— Очень рады, барон, садитесь, — ответят ему несколько застенчивых голосов.

— Ведь я вам обойдусь дорого, господа, я предупреждаю... — прибавит он с обязательною и приятною улыбкою, рассаживаясь важно, выбирая блюда по карте и морщась, как будто делая одолжение позволением себя угощать. А начав есть, непременно еще заметит:

— Какая гадость! здесь нельзя ужинать... и черт знает, что за вино!..

В общих обедах или пикниках Щелкалов участвовал постоянно, требовал еще обыкновенно увеличения цены, а когда дело приближалось к расчету, уезжал, говоря, что чувствует себя не совсем здоровым, или, обращаясь

небрежно к комунибудь из присутствующих, говорил:

— Федя, или Саша, или Коля (кто случится), заплати за меня. Я отдам после.

Новички, робкие и неопытные, были всегда у барона в запасе.

Однажды он поймал одного из таких в коридоре при разезде из театра. Новичок, перестав быть новичком, сам рассказывал мне об этом.

— Саша, — сказал он ему, — ты куда едешь?

— Да я, право, не знаю, — отвечал новичок.

У барона постоянно был прекрасный аппетит. Он не ел из важности только у таких людей, как Грибановы.

— Поедем ужинать к Леграну. Хочешь?

— Да мне что-то есть не хочется, — сказал Саша.

— Вздор, братец, еще захочется, — возразил Щелкалов уверительно, — я тебе дам самый тонкий ужин (и он приложил пальцы к губам), чудо какой! ты увидишь. Едем.

Молодые люди сговорчивы. Саша подумал с минуту и отвечал:

— Ну, пожалуй.

— У тебя есть здесь экипаж?

— Есть.

— Ну, так едем вместе.

Щелкалов сел с Сашей в его коляску и приказал кучеру ехать к Леграну.

Барон заказал в самом деле великолепный ужин: с устрицами, с трюфелями, с замороженным шампанским, поил Сашу, рассказывал ему анекдоты, не умолкал ни на минуту и все становился любезнее и остроумнее. Был уже час третий в исходе. Саше захотелось спать.

— Подай счет, что следует с меня? — сказал он лакею, полагая, что барон, пригласивший его, не допустит его платить, но Щелкалов молчал.

Счет был принесен. Саше следовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянул на счет, отдал его лакею и сказал, чтоб этот ужин записали, потому что у него нет с собой денег.

А барон все рассказывал какое-то презабавное происшествие и вдруг остановился в ту минуту, когда Саша возвращал счет лакею,

сказав очень спокойно:

— Вели и мой ужин записать на свой счет. Мы с тобою после сочтемся.

И тотчас же продолжал прерванный рассказ, как ни в чем не бывало...

Тот, кто не знал Щелкалова коротко, а видал его только в обществах издали и слышал его рассуждения, ни за что не поверил бы всем этим фактам, — столько ненависти, столько желчи, столько презрения обнаруживал он, когда речь шла о каком-нибудь низком поступке.

Как понимал он назначение человека и дворянина, как клеймил недостойных потомков знаменитых родов, как превосходно рассуждал о том, в какой чистоте и неприкосновенности должно хранить имя, переданное от предков, и прочее, и прочее.

В это время я уже довольно хорошо знал его, но, несмотря на это, он приводил меня иногда в недоумение.

С тех пор, как он узнал о моих знакомствах с различными господами, которых он звал, как я уже заметил, уменьшительными именами, Щелкалов совершенно переменялся со

мною, сделался очень любезен и прост. Раз как-то я его встретил на Невском.

— Куда вы? пойдите вместе, — сказал он, продевая свою руку в мою.

Расхаживая довольно долго рука об руку, мы разговаривали о разных предметах. Я не раз сомневался в его уме, но в этот раз должен был сознаться, что мои сомнения были несправедливы, что он точно умен; что у него только слово и дело были в постоянном разладе — и даже не имели ничего общего между собою. Барон остроумно и очень ядовито преследовал иногда в других то, чего сам в себе не видел или не умел видеть и в чем самого его можно было поймать на каждом шагу.

Навстречу нам попался какой-то господин, полный, высокий, с правильными чертами лица, с орлиным носом, с важною поступью, с самодовольною улыбкой, по-видимому, один из самых гордых и недоступных на вид. Он сделал Щелкалову на воздухе какieto знаки рукою и чуть-чуть шевельнул головою, слегка улыбнувшись.

Щелкалов спросил у меня, знаю ли я этого господина? Я сказал, что нет.

— Как, неужели? — возразил он, лицо его подернулось иронией. — Это, батюшка, лицо замечательное... у нас в свете, в нашем муравейнике... Это такой-то (он назвал мне его имя со всеми принадлежащими к нему украшениями), видите ли, первое — *bel homme*, второе — богат, третье — глуп и скучен, — и совершенно в равной степени. От важности и довольства самим собою он как будто не идет по земле, а плывет по воздуху. Он очень хитер на различные изобретения; он долго занимался теорией поклонов и дошел в этом до высочайшей тонкости, надо сознаться. Он кланяется с удивительным разнообразием, смотря по степени важности и значения человека в свете. В Китае он был бы великим человеком. Ему бы надо родиться в Пекине, а не в Петербурге. Самым значительным кланяется он, наклоня голову в пояс и потом медленно приподнимая ее и смотря им прямо в глаза с выражением в зрачке умиления, смешанного с безграничною преданностью; перед менее значительными он наклоняет голову до ложечки, а на лице у него в это время изображается улыбка, выражающая глубо-

чайшее почтение; равным себе он только трясет головою, приятно улыбается и в то же время прикладывает руку к губам; для низших и малозначительных у него тысячи оттенков в поклоне: иным он кланяется, прикасаясь рукою к полям шляпы и сохраняя строгую важность в физиономии; другим — только до половины приподнимая руку; а при встрече с самыми последними, с самыми маленькими, по его мнению, он только делает вид, что желает пошевелинуть руку для поднесения ее к шляпе. У него, впрочем, еще больше этих подразделений; я вам говорю только о самых характеристических! Мне он поклонился как человеку, которого он знает с детства, с которым встречается в свете, — это выражается у него болтаньем руки на воздухе и легкою улыбкой. Хитрый ведь господин!.. Не правда ли?

Произнеся это, барон вдруг поднял голову и начал смотреть на вывески.

— Зайдемте вот в этот магазин на одну минуту, — сказал он мне, оставив мою руку и поднимаясь на ступеньки.

Я пошел за ним.

Простота Щелкалова и его ум внезапно оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсем другой человек, или, вернее, передо мною опять был настоящий барон, не имевший ничего общего с тем человеком, который разговаривал со мною за минуту перед тем.

Он начал с того, что толкнул дверь магазина ногою, так что она с силой хлопнула о прилавок и чуть не разбила стекла ящика, за которым хранились вещи.

— Пару перчаток... мой номер! — закричал он по-французски и, засунув руку за жилет, начал зевать принужденно и вслух, небрежно рассматривая разные вещи в свое стеклышко.

— Какого цвета перчатки, господин барон? — спросил магазинщик.

— Gris-perle... А ведь это недурно! — проворкотал он, обращаясь ко мне и ткнув своей палкой какую-то черепаховую шкатулку с бронзой. — Сколько стоит?

— Сто рублей серебром, господин барон, — отвечал магазинщик.

— Это дорого... Ну, что ж перчатки?

— Вот, господин барон!

И магазинщик подал ему перчатки, завернутые в бумажку.

Барон взял их, положил к себе в карман, проговорил: "На счет", опять зевнул вслух и, едва передвигая ноги, как-то еще особенно шаркая ногами, направился к выходу, потом остановился, полуобернулся и сказал магазинщику, провожавшему его:

— На днях... я зайду... меня просили... Я у вас куплю рублей на пятьсот.

И с этими словами вышел, хлопнув дверь и чуть не прихлопнув еще меня.

Когда барон перестал абонироваться на оперу, он сделался в театре еще заметнее.

Он не пропускал ни одного представления, хотя уж потом никогда не покупал кресел. Он знал почти все абонированные кресла первых рядов, потому что они все принадлежали его знакомым; знал, кто из них приезжает в какое время, и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появлении его владельца пересаживался на другое, и, таким образом переходя с места на место; наконец успокаивался на каком-нибудь пустом, никем

не занятом кресле, потому что в опере в первых рядах бывает таких много. Если же театр бывал полон, то он войдет обыкновенно в партер, обведет стеклышком ложи; знакомых окажется, разумеется, довольно, и он в продолжение спектакля кочует из ложи в ложу.

Я сблизился с Щелкаловым в то время, когда у него уже не было ни кресел в театре, ни лошадей на конюшне, ни экипажей в сарае, хотя один из лакеев его все еще красовался в красных плюшевых штанах и в гербовой ливрее, которая, впрочем, была уже значительно поношена. Квартира его в это время заключалась только в трех небольших приемных комнатах, в которых, впрочем, от мебели не было проходу.

Тут была и мебель работы лучших мастеров, за которую еще не были заплачены деньги, хотя материя, ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой барон был большой охотник, купленная им на чистые деньги в разных лавочках на толкучем, и старинные бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и окон.

Однажды я зашел к нему. Ливрейный лакей, по обыкновению, побежал докладывать.

Барон вышел ко мне навстречу в китайском шелковом халате с цветами и птицами и в туфлях с загнутыми носками. Он, шлепая туфлями, лениво передвигал ноги.

— Очень рад, — сказал он, взяв меня за руку и пожав ее. — Извините, что я принимаю вас в таком костюме (и барон распахнул свой халат и засмеялся).

Пойдемте ко мне, в мой кабинет: там мы можем усесться покойнее. (Это было месяцев через пять после вечера у Грибановых.) Он усадил меня в покойное кресло, сел против меня и распахнул грудь, вероятно, для того, чтобы обратить мое внимание на свое превосходное белье; он ничего не делал без намерения.

— Вы курите? — спросил он меня.

Я кивнул утвердительно головою.

— Сигареты или турецкий табак?

— Сигары, — отвечал я.

— И прекрасно делаете, — возразил Щелкалов, — с хорошей сигарой ничто в свете не сравнится, я вам дам отличнейшую. Они,

правда, дороги, мне обошлись рублей по двадцати за сотню; но ведь все хорошее, к сожалению, дорого!

Барон позвонил, и, когда человек явился, он приказал ему придвинуть старинную шкатулку с перламутровыми инкрустациями, в которой лежало несколько сигар.

— Вещь недурная, заметьте, — сказал он мне, указывая на шкатулку. — Этот ящик подарен моему отцу князем N и достался ему от его бабушки графини Анны Петровны.

Историческая вещь!

Барон открыл ящик, вынул сигару, придвинул ко мне свечу и начал рассказывать мне о пирах и празднествах своего отца, о князе N, который ездил к нему одному, был с ним очень дружен, и прочее, и прочее. Рассказ его показался мне очень интересным, но впоследствии он повторялся при мне неоднократно и, как я заметил, с различными прибавлениями и украшениями, что заставило меня несколько усомниться в его исторической достоверности.

— У меня есть много любопытных данных, — прибавил Щелкалов в заключение,

подойдя к шкафу, открыв дверцы и указав на какие-то бумаги, перевязанные веревкой, — записки моего деда, отца, переписка его с князем... Я когда-нибудь на досуге примусь за этот хлам, из всего этого можно составить интересную статью... Ну, а что, сигары хороши?

— Отличные, — отвечал я.

Они в самом деле были таковы. Он сам закурил пахитоску, выпустил тонкую струю дыма и вдруг предложил мне вопрос совершенно неожиданный:

— А что, вы часто бываете у наших общих знакомых... у Грибановых?

До этой минуты он не только ни слова не говорил о них, даже, казалось, избегал и напоминания.

— Бываю довольно часто, — отвечал я, — они люди очень добрые.

— Да, кажется, — возразил Щелкалов, — хотя надо признаться, что немного смешные, ведь правда? И барыня мне эта не совсем нравится... тетка, что ли? Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте. Впрочем, у всех такого рода барынь слабость к французскому диалекту.

Щелкалов помолчал с минуту.

— А дочка... она ведь миленькая, кажется?

— Очень, — отвечал я.

— В самом деле?.. И у нее так себе есть голосок для домашнего обихода... Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены в нее?..

— Нисколько, продолжайте смело.

— Да-с... ну, а скажите, пожалуйста, можно за нею эдак... приволокнуться?

— То есть как, эдак? Это семейство очень честное и почтенное.

— О, да я в этом нисколько не сомневаюсь! — воскликнул Щелкалов, — я разумею волочиться самым невинным образом... А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будут косо смотреть на это, а? Ведь я мало знаю эти буржуазные нравы.

— Очень может быть, — сказал я, хотя подумал, что тетенька была бы от этого в совершенном восторге.

— Разве приволокнуться мне, на старости лет! — проговорил он через минуту, зевнув и потянувшись, — потому что это уже все надоело мне.

С этим словом Щелкалов придвинул к себе

китайское блюдо, стоявшее на столе у него под рукою, и тотчас же оттолкнул его. На этом блюде была груда разноцветных записочек и писем: кружевных, с бордюриками, с вензелями, с именами, с гербами, и прочее. До этой минуты я не обратил на него внимания.

— А что это такое? — спросил я нарочно.

— Это? — возразил он с принужденною улыбкой, — различные мои воспоминания, глупости, *billets-doux*, это материалы для моей биографии, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ее. Здесь есть, впрочем, много любопытного. Я иногда роюсь в этих воспоминаниях не без удовольствия... Лучше иметь хоть какие-нибудь воспоминания, чем ничего; правда?

— Я думаю.

Барон опять придвинул блюдо к себе и начал перебирать записки, не упуская случая подсовывать мне под нос, как будто нечаянно, те, на которых красовались гербы и короны. Две или три записочки на французском языке без запятых и точек он тут же бросил в камин, показав мне предварительно первые

строки.

В этих записках Щелкалова называли *mon petit Sacha*, и вслед за тем речь начиналась о деньгах.

— Это от Камишки, — прибавил он с улыбкою.

Я слышал, что Щелкалов с этой *m-lle Камиллой* имел какую-то неприятную историю, что он будто взял у нее бриллианты для того, чтобы отвезти их в починку, заложил их и проиграл эти деньги, что-то вроде этого; что она везде об этом кричала, но потом примирилась с ним, потому что он не только выкупил эти бриллианты и возвратил их ей, но еще вдобавок поднес ей какой-то браслет довольно значительной цены.

— А вот письмо, — сказал Щелкалов, выбрав одно из груды и подавая его мне, — прочтите, это стоит того.

Письмо это было написано самым изящным французским языком и почерком и было проникнуто самою безумною страстью.

— Ну что? каково? — возразил он, когда я возвратил ему письмо, — и если бы вы знали, что это была за женщина! я не стоил ее, не

знал ей цены. Мне всякий раз становится досадно и больно за себя...

И он ударил кулаком по столу.

— В этой женщине было все — и красота, и ум, и поэзия; от выражения глаз ее можно было с ума сойти; за нею волочились все, всё было безумно влюблено в нее... Я, знаете, редко могу чем-нибудь увлечься; но, говоря об ней, вспоминая об ней, вы видите, я не могу быть равнодушным.

Щелкалов точно представлял вид человека взволнованного.

— Вы ее не знали, — продолжал он, — вам могу я показать это, не компрометируя ее памяти.

Он отворил стол, вынул из стола коробку, а из коробки медальон и подал его мне.

В этом медальоне был вделан портрет женщины, красоты почти идеальной; по крайней мере мне не случалось встречать таких женщин.

— Не правда ли, хороша? — спросил Щелкалов.

— Даже невероятно, — отвечал я.

— Именно невероятно... *c'est le mot!* Да, она

была во всех отношениях невероятна.

Он взял от меня медальон, посмотрел на него, спрятал в стол и задумался.

— А не правда ли? — сказал он через минуту, — мы живем глупою, изломанною, исковерканною жизнью?

— Да, это правда, — отвечал я.

— Эге! — вскрикнул вдруг Щелкалов, взглянув на часы. — Да уж половина второго... Я в это время всегда завтракаю. Не хотите ли вместе со мною?

Я отвечал, что никогда не завтракаю, но барон позвонил, не обратив внимания на мой ответ.

— Дайте нам чего-нибудь позавтракать, — сказал он вошедшему лакею.

Через минуту на серебряном подносе принесен был только что початый страсбургский пирог, различные холодные закуски на китайских тарелках и две бутылки: одна с лафитом, другая с мадерой, также початые.

Наш общий знакомый, господин с злым языком, уверял меня, что эти закуски, этот пирог и вина — все это театральное; что это не более, как пуф, выставка серебряного под-

носа и китайских тарелок для поддержания кредита.

Я сам, впрочем, не мог убедиться в этом, потому что ни к чему не прикасался, а барон тоже едва ковырнул только страсбургский пирог и выпил менее полрюмки мадеры.

Когда я уходил, он сказал мне:

— А знаете ли, соберемся когда-нибудь к Грибановым... а?

— Пожалуй, — отвечал я, — но они скоро переезжают на дачу.

— Право? а куда?

— К Выборгской заставе.

— А-а! это кстати, а я буду жить на Черной речке. Это недалеко. Я люблю ходить и хожу очень много... Я буду заходить к ним. Я надеюсь, что мы будем там видеться.

И он пожал мою руку.

Но еще до переезда его на дачу мне было суждено сойтись с ним у нашего приятеля, господина с злым языком.

Господин с злым языком рассказывал мне об одном очень известном нам обоим промотавшемся лице, которое имело привычку занимать деньги, бросаясь на колени и повто-

ря: "Семейство, дети, казенные деньги затратил... Завтра ревизия... я погиб!" Эта штука действовала на некоторых, и это лицо выполняло себе довольно значительные суммы, на которые потом задавало тону и блестело между своими приятелями, соря деньгами.

Во время этого рассказа явился Щелкалов.

По шуму, с которым он вошел, по его более чем когда-либо неприступным замашкам, по его веселости — он напевал какую-то бравурную арию — надобно было предполагать, что он перехватил значительные деньги у какого-нибудь новичка.

Он разлегся в кресло, посвистывая; начал выбивать пыль из панталон своей палочкой и прислушиваться к нашему разговору.

— А-а! да я знаю, о ком идет речь, — перебил он. — Вот шут-то!..

— Таких шутов много, — заметил мой приятель.

— Да и то правда! — возразил беспечно Щелкалов. — Ах, господа, — продолжал он, — вы любители артистических вещей и знатоки. Я вам покажу вещицу со вкусом.

Говоря это, он вытаскивал что-то из карма-

на своего пальто. Вытащив сафьянную коробочку, он открыл ее, вынул из нее какую-то небольшую игрушку и показал нам.

Это была печать с его гербом, ручка которой изображала фигуру, превосходно вычеканенную из серебра.

— Правда ли, артистически сделано? — прибавил он. — Какая тонкая работа! а?

Бенвенуто Челлини!

— Хорошо, хорошо! — сказал хозяин дома, рассмотрев печатку и отдавая ее Щелкалову. — Ба! да это еще что у тебя за новое украшение?

Он взял его руку и начал рассматривать перстни, украшавшие один из его пальцев.

— Тут только один новый, — сказал Щелкалов и указал на отличнейшую жемчужину, обделанную в золоте.

— Недурная вещь! а признайся, мой милый, ведь ты соришь деньгами вроде того господина, о котором мы сейчас говорили?

— Какой вздор! — воскликнул Щелкалов, сделав гримасу и пожав плечами. — Что ж тут общего? Хорошо сравнение!.. Очень любезен, — продолжал он, обратясь ко мне и сме-

сь, — ставит меня на одну доску с эдаким ба-  
рином!

— А что ж? он бросал деньги на одни глу-  
пости, ты бросаешь на другие. Оба вы занима-  
ете. Или, может быть, ты получил наслед-  
ство? В самом деле, откуда у тебя все эти дра-  
гоценности?

Щелкалов сделал гримасу.

— Какое наследство? что ты бредишь? что  
с тобой сегодня?.. Во-первых, эти вещи мне  
подарены, а во-вторых, если бы я и купил их,  
то это такая дрянь, такая безделица, для при-  
обретения которой не нужно, кажется, полу-  
чать наследства.

— Ах, да я и забыл, — заметил с улыбкою  
приятель, — что ты необыкновенно счастлив  
на женщин... Может быть, это сувениры?

Разговор принимал для Щелкалова на-  
правление несколько щекотливое, и он вдруг  
прервал его:

— Ну, полно вздор говорить... Скажите-ка,  
господа, лучше, где вы завтра обедаете? вы не  
дали никому слова?

— Зачем тебе это? — спросил хозяин дома.

— Затем, — отвечал он, — что я зову вас

обоих перед переездом на дачу отобедать со мной завтра в каком-нибудь кабаке... Я вас угощаю, разумеется...

Будет еще человека два наших общих знакомых.

— Нет, — сказал хозяин дома решительно, — я не буду, это пустяки.

— Почему? Что такое?..

— Разумеется, пустяки, потому что ты деньги эти можешь употребить с большею пользою, — например, уплатить ими какой-нибудь из долгов.

Барон весь вспыхнул.

— Я не прошу тебя входить в мои дела и распоряжаться ими, я сумею это сделать и без тебя. Если же тебе нужны деньги, которые я у тебя взял, ты мог бы сказать это прямо, не прибегая к наставлениям и к морали, которую я не терплю... Вот твои деньги.

Он вытащил пачку ассигнаций из кармана панталон, смял их в руке и гордо бросил на стол.

— Мне деньги эти теперь вовсе не нужны, а тебе они, вероятно, пригодятся; возьми их назад и успокойся. Человеку хорошего тона

ни в каком случае неприлично так выходить из себя.

— Но... — начал было барон мрачно.

И вдруг остановился, захохотал громко и принужденно, схватил своего приятеля за плечи и сквозь этот натянутый смех произнес, глядя на него пристально:

— Чудак! ты думал, что я в самом деле сержусь? ты принял это серьезно?

— Нет! Я знаю, что ты бросил эти деньги для того только, чтобы показать нам, что у тебя есть деньги. Я тебя вижу насквозь, любезный!

— Что же удивительного?.. и не одного меня, надеюсь? — возразил Щелкалов, улыбаясь принужденно. — Ты, брат, видишь всех насквозь...

Он обратился ко мне и продолжал каким-то торжественным тоном, указывая на нашего приятеля:

— Да, батюшка, перед ним все мы мальчишки! Он имеет полное право читать нам мораль, потому что он смотрит на жизнь просто и здраво: он не заражен этими предрассудками, которые уродуют всех нас; он не спу-

тан ими, как мы... Вы знаете, что он всем высказывает в глаза презрительные истины; он беспощаден... Это бич наших слабостей, наш Ювенал.

— Эх, господа! — перебил его хозяин дома, — Ювенал слишком велик для вас, а вы слишком мелки для него. Какие вам Ювеналы! вы не стоите не только сатиры, даже мелких эпиграмм; вас и порядочной эпиграммой нельзя прихлопнуть, так вы плоски! Вот хоть, например, ты — у тебя сердце доброе, ты малый неглупый...

Барон иронически улыбнулся и поклонился.

— Я ведь говорю тебе теперь не шутя... ну, на что ты похож, в самом деле, что ты из себя сделал? В тебе ведь нет ни одного движения, ни одного взгляда, ни одного слова искреннего и истинного; ты весь исковеркан и изломан и наружно, и внутренне. Никакому порядочному человеку в голову не придет, чтобы под эту пошлою маской, которую ты носишь с таким самодовольствием, могли скрываться ум, чувство или хоть что-нибудь человеческое... А в тебе еще есть слабые остатки и

того, и другого, но до них добраться трудно.

Щелкалов, слушая это, ходил по комнате, беспрестанно меняясь в лице. Слова эти на него подействовали. Он был взволнован, и волнение это было непритворно, потому что он вдруг сделался прост и натурален.

— Я тебе скажу, — начал он, все продолжая ходить, голосом, в котором не слышалось уже ни одной фальшивой ноты, и как бы забыв о моем присутствии. — Я тебе скажу более: черт знает, я иногда сам в себе не могу ни до чего добраться... такая внутренняя путаница во мне. Что ж с этим делать?.. Во мне было, ей-богу, много порядочного, но воспитание и жизнь все, все изуродовали.

— Да не ломайся хоть перед нами, — возразил господин с злым языком. — Мы, — продолжал он, — знаем все эти штуки наизусть.

И он мастерски очеркнул перед Щелкаловым жизнь его и ему подобных. Мне даже стало жаль барона. Он высказывал ему такие горькие и ядовитые истины, что мне становилось неловко при этой дружеской беседе. Я развернул какую-то книгу и уткнул в нее нос, однако не мог удержаться, чтобы из-под кни-

ги не взглядывать на Щелкалова. Мне показалось, что у него наворачивались на глазах слезы.

— Ну, что ж? все это правда, горькая правда! — произнес он, когда тот кончил.

— Слабость моего характера возмутительна... Я, братец, проклинаяю себя за его ничтожность... Ну, веришь ли, — прибавил он после минуты молчания уже в самом деле со слезами на глазах (я это видел ясно), — веришь ли, что я иногда бываю противен самому себе?

— Очень верю, — отвечал беспощадный приятель.

Щелкалов начал опять ходить по комнате в большой тревоге, не видя никого и ничего перед собою, и вдруг почти наткнулся на меня, так что я должен был отодвинуться. Лицо его как-то странно передернулось, когда его глаза встретились с моими, и он в то же мгновение принял великолепную позу и произнес, лениво растягивая слова, как будто у него вдруг язык распух или что-нибудь мешало ему говорить:

— Что, батюшка, каково? а-а? Не правда ли, мне задали порядочную баню? О, да ведь

он ужасен! (Щелкалов указал головой на нашего приятеля.) А ведь это время от времени, знаете, полезно... а? Правда?.. Я к нему иногда хожу как к доктору; иногда сам прошу, чтобы он хорошенько меня отделал. Я чувствую, что это мне нужно. И не меня одного, он всех нас так обрабатывает!

Щелкалов делал над собой явное усилие, чтобы смеяться, и был действительно жалок в эту минуту.

— Однако мне пора, — проговорил он, взглянув на часы. Я после этой бани должен еще немного отдохнуть, а потом мне надо сделать кое-какие визиты... А что ж завтрашний обед? Мне не позволятся вас угощать? а?.. Ну так в таком случае ты, что ли, меня угощаешь?..

Он взялся за шляпу.

— Деньги-то возьми, — сказал ему хозяин дома, улыбаясь и указывая на пачку смятых ассигнаций, брошенных на стол.

— Ах, да!

Щелкалов взял преспокойно эту пачку, засунул ее в карман, надел шляпу, пожал нам руки и вышел, мурлыча ту же арию, с кото-

рой вошел.

— Каков!.. — сказал господин с злым языком, обращаясь ко мне и смеясь, — а ведь мог бы быть порядочным человеком, если б его взять в хорошие руки лет десять тому назад; теперь, конечно, поздно, он уж никуда не годится... и, наверно, кончит плохо...

— Вы его, однако ж, жестоко отделали! — заметил я.

— Да что! ему это нипочем, с него все как с гуся вода; он сначала как будто тронулся немножко, а потом опять стал кобениться... Я его знаю с детства; человек он в самом деле не глупый, но от пошлости и пустоты жизни у него уже начинают тупеть и слабеть умственные способности и, что всего хуже, стираться чувство чести. Он теперь не может сосредоточить свои мысли ни на чем, ни над чем не в состоянии задуматься серьезно — хоть на четверть часа... Рысак, кольцо, старая саксонская или китайская кукла, Дарья Александровна — мгновенно изгоняют из его головы всякую мысль. Сердце у него также доброе, но что в этом сердце?..

С ним часто бывает так, что у него один

целковый в кармане, встретится нищий — и он отдаст ему этот последний целковый... мне это случалось видеть не раз, и отдаст именно по влечению сердца... разве с небольшою примесью другого ощущения, никогда не оставляющего его — желания показать, что ему деньги нипочем. А иногда у него набит карман деньгами, вот как сегодня, — занятыми, но это, правда, редко, и он не даст гривенника человеку, умирающему с голоду; у него все случайно, все зависит от минуты. Передо мной он не скрывает своих плохих дел и на днях меня ужасно рассмешил: говорит, что непременно займется делом... каким бы вы думали? вы не угадаете ни за что... будет писать статьи для журналов; у него, видите ли, много исторических материалов, напечатает свои стихи и за все это получит довольно значительные деньги! И он в самом деле от души верит, что это возможно. Такие признания он делает, впрочем, только мне одному. Он пришел бы в отчаяние, если бы кто-нибудь другой узнал, что ему приходится трудом добывать деньги. Ему за труд получить деньги — стыдно, а обмануть кого-нибудь, занять и не

отдать — ничего. Хороша среда, которая вырабатывает такого рода господ.

## Глава IV,

### **в которой описывается прелесть дачной петербургской жизни, дачная природа и дачные препровождения времени и увеселения**

Семейство Грибановых переехало на дачу в конце мая... Кстати о петербургских дачах. Вот как характеризует эти дачи один мой приятель в одном из своих неизданных сочинений... Этот отрывок я беру с его дозволения. У нас, впрочем, бывали примеры, что приятельские сочинения брали без дозволения и, изменив несколько слов, подписывали под ними свое имя. Я нахожу, что это неделикатно.

*"...Большая проезжая дорога, над которой поднимается беловатое облако пыли, разносимое ветром то направо, то налево, а во время дождей непроходимая грязь.*

По сторонам этой дороги деревянные домики с зубцами и башенками: подражание готическим средневековым замкам, более, впрочем, похожие на высокие пироги из миндального теста. Домики эти имеют также сходство с балаганами, которые в Петербурге строятся на Адмиралтейской площади, а в Москве под Новинским, тем более, что они сколочены также из досок и барочного леса. Перед ними палисаднички, обнесенные решетками и заборами. В каждом палисадничке тощая березка или липка с засохшей верхинкой, кусты какой-нибудь зелени, прижженные солнцем и напудренные пылью, и цветничок, также с напудренными цветами, не издающими ни малейшего аромата. Сзади небольшой пруд, подернутый плесенью, и всегда плоское поле с мохом и кочками или просто болото. Палисадник возле палисадника, балаган возле балагана, почти стена об стену, или, правильнее, доска об доску, так что если, например, в одном балагане дама чихнет от пыли или от сырости, из другого балагана кавалер на это чиханье может

пожелать ей громко здоровья... Часов в восемь вечера все это плоское пространство покрывается болотными испарениями, беловатым туманом, из которого только торчат зубцы и башенки. Когда луна поднимается из этих испарений и осветит это пространство, оно издали покажется морем, а башенки мачтами барок, и если дама в приятном сообществе неосторожно засидится на своем балконе при этом лунном освещении, то ее пышно накрахмаленный кисейный капот превратится непременно в мокрую тряпку...

Но не все петербургские дачи построены на болотистых пространствах, и тот, кто полагает, что кругом Петербурга нет ничего, кроме воды и болота, находится в совершенном заблуждении. Близ Петербурга есть и возвышенности, и на этих возвышенностях торчат также миндальные башенки. В какую бы, впрочем, сторону ни выехать за черту Петербурга — башенки будут преследовать повсюду. Петербургский житель не может никак летом обойтись без башенок, в ко-

торых ветер продувает его насквозь, а дождь сквозь щели крыши льет ему на голову. Любители сухого воздуха отыскали себе близ самого города сухой оазис, где нет ни капли воды: где только песок и сосны — сосны и песок; где нога тонет по колено в песке или скользит на сосновых иглах, или спотыкается на сосновых шишках; где нет ни одного сочного, свежего и светлого листка и где природа вся колетя, как еж. Здесь те же башенки и зубчики и те же палисадники, выходящие на пыльные улицы, но от этой пыли уже не чихаешь... это не шоссейная пыль, превращенная в мелкий порошок и ядовитая, как табак, — это массивная и густая пыль, тяжело висящая в воздухе, от которой можно задохнуться... В палисадниках кроме сосны попадаетея иногда только что пересаженная откуда-то рябина, липа или березка, тонкие и робкие, на которые мрачно ощетинившаяся сосна, кажется, смотрит враждебно, как на незаконно попавших в ее исключительное владение, в это царство песку, где она разрастается и плодится самовластно.

На этих-то песках или на этих болотах проводят петербургские жители три месяца в своих миндальных башенках, выглядывая на природу по большей части из теплых салонов и ваточных пальто. Но когда петербургская природа улыбнется, когда солнце осветит эти башенки, все дачное народонаселение высыпает на поля и на улицы наслаждаться природой.

Барыни и барышни, затянутые и закованные в корсеты, в накрахмаленных юбках, в кисеях и в батистах, в прозрачных шляпках, под зонтиками и вуалями чинно гуляют по пыльному шоссе, по песку или по мху и кочкам в сопровождении штатских или военных кавалеров и наслаждаются природой, называя холмик — горою, пруд, вырытый для поливки цветов, — озером, группу дерев — лесом, четыре дерева — рощею, и так далее. Иногда вдруг барышне вздумается побегать на вольном воздухе, что весьма натурально... Она взглянет на маменьку и побежит, а кавалер, военный или штатский, сейчас за нею — догонять ее. Он, разумеется, тотчас же поймает ее за та-

лию, потому что она бежать не может, барышня вскрикнет или взвизгнет: "Ах!" и, запыхавшись и покрасневшись, возвратится к своей компании, которая встретит ее веселым смехом. Пройдя таким образом известное пространство, компания повертывается домой. Барышни и барыни, возвратясь с прогулки, стряхают и смывают с себя пыль, вытираются и притираются и возвращаются на балкон или на террасу очаровывать своих кавалеров, которые любезничают и курят, курят и любезничают...

Зимой не дозволяется курить при дамах: это для мужчин также одно из дачных наслаждений — барыни, барышни и папироски...

За готическим домиком из барочного леса бывает иногда садик шагов во сто длины и шагов пятьдесят ширины. Семейство пьет чай или обедает в этом садике на свежем воздухе, хотя свежий воздух пахнет конюшней, гнилью и еще чем-то более неприятным, потому что с одной стороны к садику прилегает здание конюшен, а с другой какие-то развалившиеся домашние стро-

ения. Верстах в полуторах бывает обыкновенно какой-нибудь большой сад с парком, с прудами, где водятся караси, с беседками, стены которых исписаны различными остроумными русскими и немецкими надписями карандашом, мелом и углем и изрезаны ножом, с памятниками, с мостиками, с парнасами и с другими барскими затеями. Это — любимое место для прогулок окрестных дачных обитателей, и у каждой дачной барышни и барыни есть непременно любимое место в этом саду: скамейка, с которой вид на поле, или уединенная беседка в тени акаций и лип, драгоценные ей по каким-нибудь воспоминаниям... Здесь на скамейке, на дереве или на колонне, украдкой ото всех, барышня вырезала начальную букву имени его, иногда год, число и месяц, незабвенный для нее месяц и еще более незабвенное число. Здесь есть горка, с которой обыкновенно любуются закатом солнца; аллея, в которой гуляют при луне, — и на горках, в аллеях, в беседках — везде звуки немецкого языка, неизбежного на всех летних публичных гуляньях.

На петербургских дачах — где бы ни были эти дачи, в болоте или на песке, на высохшей речке, через которую куры переходят вброд, или у моря за сорок верст от города, где дачная жизнь принимает уже широкие размеры, где веет запахом полей, где в лесах, рощах и парках встречаются столетние деревья, — на одно русское семейство непременно десять немецких. Самый бедный немец не может обойтись без дачи; летом его так и тянет *ins Grüne*. Где есть только подозрение природы, слабый намек на зелень, какие-нибудь три избышки и одна береза, одну из этих избышек немец непременно превратит в дачу: оклеит ее дешевенькими обоями, привесит к окнам кисейные занавесочки, поставит на подоконники ерань и лимон, который посадила в замуравленный горшок сама его Шарлота; перед окном избы выкопает клумбочку, посадит бархатцев и ноготочков... и устроит свое маленькое хозяйство так аккуратно и так уютно, как будто лето должно продолжаться вечность. Тогда как иной русский и с деньгами наймет себе

огромную и дорогую дачу, да и живет целое лето настезь, нараспашку, как ни попало, без занавесок, без стор, в крайнем случае защищаясь от солнца салфеткой, которую прикрепит к окну чем ни попало, хоть вилкой, если вилка попадетя под руку. "Что, — думает он, — стоит ли устраиваться: ведь лето-то коротко. Не увидишь, как и пройдет. Авось проживем как-нибудь и так".

Именины или рожденья на дачах празднуются обыкновенно с большим шумом и блеском, особенно немцами: в эти торжественные семейные дни балконы убираются гирляндами цветов, а вечером вся дача освещается разноцветными фонариками; знакомые привозят иногда с собой сюрпризы в виде карманных фейерверков. Эти же знакомые лазят по лестницам и развешивают цветные фонари под главным надзором какогонибудь друга дома Адама Карлыча, и когда все готово, выводят хозяина и именинницу хозяйку любоваться этими сюрпризами, которые повторяются лет двадцать сряду. Тогда начинаются крики "браво!"; кричат гости, дети, младенцы,

все кричит и радуется, и вдруг из этой толпы раздается один какой-нибудь голос:

"Качать Адама Карлыча!" Другие голоса подхватят: "Качать, качать его!" Смущенный Адам Карлыч обращается в бегство, его преследуют, его ловят, его догоняют, его, наконец, качают при усилившемся крике и смехе, а за палисадником на улице тоже хохотня и писк.

Так веселятся на петербургских дачах средней руки, но около Петербурга есть другого рода дачи — с цельными стеклами до пола, с террасами, с галереями, с балконами, уставленными деревьями и цветами, с удивительными фонарями; с садами, в которых дорожки усыпаны красным песком, а травка подкошена и подчищена, где вместо заборов подстриженный кустарник, красивее ширм, где мраморные вазы, ванны и бассейны, где не только нельзя лечь на траву, но не решишься даже плюнуть на дорожку, где просто ходить опасно по дорожкам, ибо на этом красном песке, красиво и искусно подметенном, нет ни одного следа человеческого. Хозяин и хозяйка этой великолепной обстановки, этой

изящной декорации, называющейся дачею, много что раза два в лето пройдутся по этому саду. Они ходят мало, они природой любуются свысока, из своих экипажей, с седел своих верховых английских лошадей или с своих великолепных балконов и террас..." Мой приятель, как заметил уже, вероятно, читатель, смотрит на петербургские дачи с юмористической точки зрения. Я этой точки не люблю, я смотрю на дачи очень серьезно и нахожу, что они составляют существенную потребность в жизни петербургского жителя; но дело не в том. Дача, которую нанимали Грибановы, одна из ближайших дач за Выборгской заставой, по дороге, ведущей к Парголову, была построена без особенных затей. На ней не торчали миндальные башенки и не было видно ни одного зубчика: это был просто домик с мезонином, с обыкновенной крышей и с крылечком, выходившим в палисадник. Такая простота несколько смущала Лидию Ивановну, которая, смотря на этот дом, обыкновенно говорила: "Что это за постройка! это совсем не похоже на дачу, точно как будто дом в уездном городе... никакой архитектуры!" Зато ей

чрезвычайно нравилась дача, которая была почти напротив их, принадлежавшая какому-то золотопромышленнику, в которой готизм доведен был до невероятного. К дому приклеены были семь небольших башенок и восьмая большая, с часами, у которых бой был с музыкой... Кроме того, вся она была изукрашена зубчиками и фестончиками, а кругом ее были вырыты рвы и через них устроены подъемные мостики. Сад, окружавший ее на малом пространстве, представлял множество разнообразнейших и затейливейших выдумок: фонтанчики, гроты, пруды с островками, паромы и прочее. Лидия Ивановна говорила, что этот сад и дача — маленький эрмитаж, но ни Алексей Афанасьич, ни Иван Алексеич не разделяли в этом случае ее мнения. Алексей Афанасьич называл эту дачу вербной игрушкой, а Иван Алексеич приходил от нее даже в негодование:

— Так исказить, — говорил он с важностью, — и обезобразивать природу, и превращать архитектуру в кондитерское изделие — непозволительно.

По поводу этой дачи возникали даже в

этом образцовом семействе споры, доходившие иногда до размолвок.

— Кажется, более меня уж никто не любит природы, — замечала Лидия Ивановна, — но я восхищаюсь равно и природой, и искусством, и диким местоположением, и обделанною и украшенною местностью. Все хорошо в своем роде.

— Помилуйте, какое тут искусство! — возражал Иван Алексеич, — это не искусство, а оскорбление искусства, пародия на искусство. Рыцарские замки из барочных досок, раскрашенные и вымазанные сусальным золотом!..

— Ну, стало быть, я ничего не понимаю, — перебивала Лидия Ивановна, — стало быть, я не умею ценить искусства?

Алексей Афанасьич приходил при этом в беспокойство и вступался в разговор.

— Нет, не то, матушка, — говорил он самым мягким и примирительным голосом, — вы очень хорошо понимаете искусство, Иван это знает; но у вас есть страстишка к игрушкам, это вам и нравится как игрушка.

— Какие игрушки! что за страстишка! какие у вас выражения! — вскрикивала Лидия

Ивановна, — разве я ребенок, чтобы мне нравились игрушки? и прочее.

Но когда раздражительность Лидии Ивановны стихала, когда она успокаивалась и принималась лепить свои цветочки, а Иван Алексеич принимался декламировать свое новое стихотворение и когда потом они принимались восхищаться произведениями друг друга, тогда Алексей Афанасьич чувствовал то внутреннее умиление, от которого на глазах у него обыкновенно проступали слезы.

Все семейство, постоянно восхищавшееся природой, предавалось с увлечением различным дачным наслаждениям. Алексей Афанасьич все свободные свои минуты проводил в окружающих лесах, отыскивая грибы, и для грибов забывал даже свои силуэтики. Сын как поэт бродил со стихом и рифмой на устах по окрестным полям и рощам. Лидия Ивановна занималась уже более настоящими, нежели восковыми, цветами. Она устраивала клумбы в своем палисаднике, садила цветы, ухаживала за ними, поливала их — и изучала, по ее собственному выражению. Наденька, обыкновенно, помогала ей в этом занятии; а Пела-

гея Петровна всё собирала васильки во ржи: наберет целую охапку васильков и начнет, бывало, плесть из них венки, сплетет веночек и украсит им соломенную шляпку Лидии Ивановны, которая непременно заметит ей с приятной улыбкой:

— Мерсі, милая! но только, право, мне это не по летам.

Когда Алексей Афанасьич возвращался из леса и когда поход его был удачен, он сзывал всех домашних, улыбался и потирал руки, а вслед за ним приносили обыкновенно корзину с грибами.

— Посмотрите, — говорил он, тая от умиления, — какие березовики-то... молоденькие, беленькие... а подосиновичек-то каков?.. а белый-то грибочек, посмотрите, Пелагея Петровна, какой махонький!.. Вот это вы велите изжарить, да со сметаной... Чудное будет блюдо... А эти вот отобрать да посолить.

И когда на столе являлась сковорода с его грибами, плававшими в сметане, Алексей Афанасьич, смакуя их, обращался поочередно ко всем.

— Каковы грибки-то! — восклицал он в

умилении. И при этом глаза его немного увлажнились.

На даче Алексей Афанасьич становился обыкновенно еще более мягкосердечен и чувствителен. Это должно было приписать действию природы.

Когда я, бывало, приеду к ним на дачу, он встретит меня первый, обнимет, расцелует...

— Ну, очень рад, очень рад, — непременно скажет он, — и прекрасно сделал, что приехал. Что в городе-то задыхаться от пыли и жара! Видишь, какое здесь раздолье, какой воздух!.. а погода-то какая стоит — чудо!.. посмотрите на небо, ни одного облачка... Да ты бы к нам на несколько дней, погостил бы у нас, мы вместе пошли бы за грибками... и прочее.

Потом он также непременно прибавит:

— Какой цветничок развела Лидия Ивановна, посмотри, ведь это просто прелесть.

Не правда ли?

Покажет на высокую и кудрявую ольху, которая росла у них за домом, хотя я уж двадцать раз видел ее, и воскликнет:

— Какая здесь растительность-то необыкновенная! где ты под Петербургом найдешь

такое дерево? Да ведь здесь и воздух какой!.. Нигде в окрестностях нет такого воздуха!.. Поверь мне... это я и на себе чувствую, да вот Лидия Ивановна и дети находят то же.

Если польет дождь, Алексей Афанасьич и от дождя приходит в восхищение.

— Как хорошо, — говорит, — теперь цветочкам-то и зелени! Они обмоются, освежатся.

Старик всегда и всем был доволен, его только немного смущали и тяготили церемонные знакомства, и когда Щелкалов в первый раз появился у них на даче, никем нежданный, врасплох, Алексей Афанасьич, лежавший в эту минуту на траве под деревом, без галстука и в туфлях, наморщился, почесал затылок и произнес вполголоса:

— Ах! зачем это его принесла нелегкая!

Потом он улыбнулся и обратился ко мне, приподнимаясь неохотно:

— Что, делать нечего, видно, придется натягивать сапоги и галстук.

Дамы, сидевшие на крыльчке, первые увидели Щелкалова, вскрикнули и бросились в дом для того, чтобы принарядиться. Я остался

один в палисаднике и пошел навстречу нечаянному гостю.

Он стоял у калитки, поглядывая кругом в свое стеклышко.

— А, здравствуйте! — закричал он, отталявая ногой калитку. — Да у кого вы здесь? Тут, что ли, живут Грибановы? Я их ищу.

— Тут, — отвечал я.

— Вот это очень кстати, что я вас нахожу здесь... Однако ж это довольно далеко.

Я, любезнейший, пешком с своей дачи!.. а? порядочное путешествие!..

Говоря это, барон вошел в палисадник, осмотрел все кругом в свое стеклышко, бросился на скамейку, стоявшую у калитки, и, чертя на песке тросточкой, сказал:

— Ну-с, а где же хозяйева?

— Они дома. Мы подождем их тут; они сейчас придут. Я боялся Щелкалова пустить в дом, где должна была, по моим догадкам, происходить суматоха.

— А что, вы знаете толк в английских лошадях? — вдруг спросил меня Щелкалов, приподняв немного голову и потом снова опустив ее и продолжая чертить на песке.

— Ни малейшего, — отвечал я.

— Неужто?

Барон опять приподнял голову и взглянул на меня, улыбнувшись, с выражением сожаления. Я знал, что, по мнению его, первым признаком порядочного человека, настоящего джентльмена, была страсть к лошадям и охоте, к этим двум важнейшим отраслям спорта, — единственная, впрочем, страсть, допускавшаяся джентльмену.

Говоря о лошадях и об охоте, джентльмен мог даже выходить из себя. Он непременно обязан был хоть прикидываться лошадиным знатоком и знать наизусть всех лошадей известной породы, внесенных в знаменитую Stud-Book. Я не раз слышал барона, красноречиво развивавшего целые теории о лошадях, выученные наизусть из *Bel's Life*, английского спортсменского журнала. И хотя вопрос Щелкалова, несмотря на его неожиданность, не удивил меня, потому что он часто предлагал вопросы еще неожиданнее и еще страннее, я, однако, спросил его:

— С какой точки зрения вас может интересовать, знаю ли я толк в лошадях или нет?

— Так, — отвечал он, — если бы вы знали в них толк, я показал бы вам удивительную английскую лошадь, которую я теперь торгую, — породистую лошадь, кровную... чудо лошадь! Немного дорогонько просят, впрочем, я думаю, придется разориться.

Разговор о лошади, нимало не интересовавший меня, к моему счастью, прекратился появлением Лидии Ивановны и Наденьки, а вслед за ними и Алексея Афанасьича в сапогах и в галстухе. Увидев их, Щелкалов лениво приподнялся со скамейки, небрежно поклонился дамам, сказал Алексею Афанасьичу: «Здравствуйте» — и протянул ему два пальца.

— А знаете, как я к вам сюда явился? угадайте!.. Все молчали, не зная, что на это отвечать.

— Пешком-с, — продолжал барон, смеясь, — с своей дачи. Это по крайней мере верст пять... как вам это нравится, а?

И Щелкалов посмотрел на всех, как бы ожидая знаков удивления.

— Неужели? — воскликнула Лидия Ивановна первая, — возможно ли это?

Она была точно поражена этим. По ее мне-

нию, ноги такой особы могли только прикасаться к паркету или к обделанным дорожкам, усыпанным толченым кирпичом.

— Вы устали, барон? — продолжала Лидия Ивановна с беспокойством, — пожалуйста, садитесь. Да скажите, что это за фантазия пришла вам — пешком?

Щелкалов засмеялся.

— Я могу отвечать вам на это: у всякого барона своя фантазия. Мне так вздумалось; я хотел сделать опыт; но, я думаю, в другой раз я не повторю этого... Ну, что, как наша музыка? — прибавил он, обращаясь к Наденьке.

Наденька вспыхнула и улыбнулась. В этой улыбке было видно, что ей очень приятно внимание Щелкалова.

— Летом я совершенно свободен, я буду заезжать к вам часто, и мы будем с вами заниматься музыкой. Хотите?

Наденька покраснела еще больше и отвечала на это только приятным наклоном головы.

— Музыка и природа, хоть с иглами, а все-таки природа! — заметил Щелкалов, указывая на сосну, торчавшую перед крыльцом. —

Летом нет других развлечений...

А где ваш сын?

Барон при последних словах обернулся в ту сторону, где стоял Алексей Афанасьич.

— Да бог его знает, — отвечал старик, — он иногда пропадает по целым дням.

Ведь он артист, поэт, бродит себе по полям, по лесам; говорит, будто бы летом он всегда живет растительною жизнью; да это неправда, тут-то у него и зарождаются различные поэтические планы... Я подозреваю, что он теперь пишет какую-то большую вещь; от нас это он еще держит в секрете. Выведайте-ка его, барон, когда вы увидите с ним. Он вам, верно, проговорится.

Старик оживился, говоря это. Голос его уже дребезжал, и слеза блестела на реснице.

Барон остался довольно долго, любезничал с Наденькой, аккомпанировал ей и пел вместе с нею. Пелагея Петровна разливала, разумеется, чай в задней комнате, а Макар, в нитяных перчатках, разносил его на серебряном подносе. Часов в двенадцать, среди общего разговора, Щелкалов обратился ко мне:

— А что, у вас здесь есть какая-нибудь ко-

лымага? вы меня довозете?

— Пожалуй, — отвечал я.

Дорогой Щелкалов больше дремал. Когда уж мы подъехали к его даче, он зевнул, потянулся и сказал:

— А, право, эта девочка премиленькая! а?.. Как она сложена славно. Если бы дать ей манеры, воспитать в хорошем доме, она произвела бы эффект в свете! Не правда ли?

Я не считал нужным что-нибудь отвечать на это, да к тому же в эту минуту мы подъехали к даче и Щелкалов закричал моему кучеру:

— Стой!

Выскочил из коляски, сделав мне приветливый знак рукою, и сказал, кивнув головой:

— Благодарствуйте...

После этого я не был месяца полтора у Грибановых. С Щелкаловым в это время я также нигде не виделся. Раз на каком-то загородном гулянье я встретился с молодым человеком, влюбленным в Наденьку.

— Ну что, как поживают Грибановы? — спросил я его.

— Я не знаю, — отвечал он сухо.

— Как! вы не знаете? Полноте! а Надеж-

да-то Алексеевна? — возразил я.

— Что ж мне такое Надежда Алексеевна?

— Как что? ведь вы влюблены в нее? И она в вас. Полноте, не скрывайтесь. Я ведь все знаю.

— Плохо же вы знаете! — отвечал молодой человек с раздражением, — влюблена она не в меня, да мне и не нужно ее любви... Она с ума сходит от этого франта, от этого барона, который приволакивается за нею не на шутку.

— Будто? да разве он часто бывает у них?

— Чуть не всякий день. Вы можете постоянно найти его там. Уж он сделался у них совсем домашним человеком: Пелагея Петровна и чай разливает при нем, даже иногда дело обходится и без серебряного подноса, и Маркар уж начинает появляться без перчаток, как бывало при нас, запросто. Лидия Ивановна, натурально, в восторге, что такой аристократ сделался у них в доме своим, и у нее только на языке, что барон: барон сделал то-то, барон сказал то-то, барон купил то-то, а этот барон лжет перед ними и ломается. Даже и этот добрый Алексей Афанасьич доволен,

кажется, обществом барона; ему позволяется теперь снимать галстук в его присутствии, и старик рассказывает о нем уже со слезами на глазах от умиления.

— Не может быть! — воскликнул я.

— Я вас могу уверить, — продолжал молодой человек, одушевляясь. — И этот барон еще привозит с собою своего друга, этого противного господина Веретенникова, который ему необходим, потому что он занимает Лидию Ивановну и Алексея Афанасьича в то время, как тот занимает Надежду Алексеевну...

— Полноте, вам это все так кажется! — возразил я.

— Нет, не кажется, а все это так есть... спросите хоть у Пруденского. Но всех противнее это уж, конечно, Иван Алексеич. Он очень хорошо видит, что тот волочитя за его сестрою, очень хорошо знает, что это волокитство ни к чему не поведет, что барон ведь не женится на ней, а способствует еще их сближению, льстит ему, а нам всем ругает его, говорит, что он всех этих светских людей презирает... И знаете ли, из-за чего это он льстит ба-

рону и потекает своей сестре? Как бы вы думали? Из-за того, что тот выслушивает его стихи, восхищается ими, кричит о них, обещает ему устроить чтение в каком-то аристократическом доме, познакомил его с каким-то князем. Иван Алексеич так и растаял от всего этого, а нам не хочет, разумеется, показать этого и говорит, что он все делает не для себя, а единственно для того только, чтобы заинтересовать аристократический круг русской литературой. Комедия, да и только!

— Вот как! а я этого ничего не знал. Я уж у Грибановых не был больше месяца.

— Я тоже не был у них дней десять, — перебил молодой человек, — да там просто противно бывать теперь, и они оба — и барон, и Веретенников смотрят на нас свысока, едва говорят, едва удостоивают взгляда. Пруденский все навязывается к ним с своими разговорами, а они чуть не отворачиваются от него. Охота же ему! Я не понимаю этих людей, а еще все толкуют о чувстве собственного достоинства и о том, что никому не позволят себе наступить на ногу, ни перед кем не уронят себя!..

Я на другой день отправился к Грибановым. Мне, признаюсь, любопытно было поверить все это собственными глазами.

Я приехал к ним на дачу часов в восемь. Это было уже в августе месяце; солнце садилось. Вечер был ясный, с небольшим холодком. Я нашел все общество в гостиной. Лидия Ивановна сидела на диване перед круглым столом, на котором стояла уже зажженная лампа, потому что в комнате было темно от деревьев. Лидия Ивановна находилась, по-видимому, очень в приятном расположении и одета была очень пестро и нарядно. На Алексее Афанасьиче были галстух и сапоги. Лицо его было все подернуто умилением, а глаза слезой; значит, он был совершенно доволен собой и окружающими. Иван Алексеич просто сиял и как-то все сладко улыбался.

Посторонних было четверо: Веретенников, Пруденский, влюбленный в Наденьку молодой человек и бойкая барышня. После обыкновенных любезностей: "Что вы поделываете? — Как давно вас не видно. — Вы нас забыли..." и тому подобного — я сел и, осмотрясь кругом, спросил:

— А что Надежда Алексеевна? Здорова ли она?

— Слава богу, покорно вас благодарю, — отвечала Лидия Ивановна, — она поехала кататься с бароном в его английском экипаже; они, я думаю, скоро вернутся. Какой прелестный экипаж у барона! — вы не видали этого экипажа? Совершенно как игрушка... И какая лошадь! Удивляться, впрочем, нечего, у барона столько вкуса!

Во время этих восклицаний влюбленный молодой человек, разговаривая с бойкой барышней, все посматривал на Лидию Ивановну, иронически улыбаясь.

— Да! другого такого экипажа нет в Петербурге, — заметил Веретенников и потом обратился ко мне, поправляя свои воротнички: — А я вчера был у графа Петра Николаича... Как он, батюшка, переменялся, исхудал — ужас!.. однако теперь ему, слава богу, гораздо лучше.

Кто такой был этот граф Петр Николаевич и почему Веретенников полагал, что его здоровье может интересовать меня, я решительно не знал, но спросил:

— Чем же он был болен?

— Как? разве вы не слышали? Страшное воспаление в горле. Он не мог ничего глотать, его жизнь была в опасности. С месяц тому назад мы были вместе на даче у графини Веры Васильевны. Вечер был неслыханно хорош. Графиня вздумала кататься на лодке, а уж граф чувствовал себя не очень хорошо. Я ему и говорю: "Петруша, ты, братец, не ездь, ты можешь простудиться, все-таки сыро... особенно на воде..." Веретенников, кажется, хотел пуститься в длинную историю. Я предупредил его:

— Да о ком это вы говорите? Кто же это такой граф Петр Николаич?..

— Граф Красногорский! — возразил Веретенников, — двоюродный брат моего зятя, князя Петра... да разве вы его не знаете?.. Pardon! а мне казалось, что я вас встречал у него...

И он от меня обратился к Лидии Ивановне и продолжал ей досказывать, вероятно, прерванный моим приходом рассказ, который так и кишел аристократическими именами.

Я подошел к Алексею Афанасьичу.

— Сколько времени носу не показываешь!

как же не стыдно! — сказал он мне с упреком. Алексей Афанасьич и другим своим коротким знакомым говорил иногда ты, когда уж был в очень хорошем расположении духа. — А мы, братец, — продолжал он, — превесело проводим время; у нас всякий день кто-нибудь из добрых приятелей.

Алексей Афанасьич встал, взял меня за руку и вывел на крыльцо.

— Ты знаешь, — начал он, — барон-то ведь почти своим человеком сделался у нас, как ты, ей-богу... И ведь он прекрасный и предобрый человек, простой такой!

Это он с виду только кажется таким гордым; ну, да в их кругу у них у всех такие манеры, а я тебе говорю, что он прерадушный, пребесподобный человек! как он смешит нас! Мастер рассказывать... в нем бездна юмора, это совершенно справедливо замечает Иван.

Не трудно было догадаться, что мнение о Щелкалове было внушено отцу сыном.

— Ах, я, братец, главного-то тебе не сообщил! (Старик вдруг весь вострепнулся.) Ты не знаешь новость об Иване-то?

— Нет, что такое?

— Ведь он читал свое сочинение на вечере у княгини Воротынской! Ведь нарочно для него был устроен литературный вечер! Вся знать была, решительно вся! Эффект был такой произведен, что и рассказать нельзя. Все были в восторге, жали ему руки, не верили, чтобы на русском языке можно было так хорошо писать стихи...

Княгиня-то умнейшая дама и с величайшим вкусом. Иван говорит, что это просто замечательнейшая женщина, что ее салон напоминает исторические салоны, о которых дошли до нас известия... вот как, например, Рамбулье, что ли? Иван так обласкан княгиней, она так полюбила его!.. У старика закапали слезы.

— Ты ведь знаешь Ивана, он с характером, он достоинства своего не уронит ни перед кем — нет! Заискивать ни в ком не станет; он горд; он нисколько не увлекается этим и теперь говорит, что ни за что не поехал бы в большой свет, даже к такой женщине, как княгиня, если бы не предвидел от этого пользы для русской литературы... Это он приносит жертву литературе. И точно, надобно теперь

сближать, братец, общество с литературой, об этом должно заботиться прежде всего... это главное.

Алексей Афанасьич разгорячился, говоря это, и размахивал руками. Мне было несколько и смешно, и тяжело слушать эти нашептанные ему фразы, значение которых он едва ли мог ясно растолковать себе.

— Барон говорит, — продолжал старик все со слезами на глазах, — что Иван всем очень понравился; нашли, что он, кроме таланта, чрезвычайно благовоспитанный молодой человек, умеет держать себя в обществе... Ну, слава богу! это меня радует, наши старания о нем были по крайней мере не даром. Да это все, впрочем, вздор, главное-то талант, это уж от бога! А какой талант-то! Что он написал третьего дня! Он прочтет тебе... Лучше этого ничего еще он не писывал, по моему мнению; так вот мороз пробегает по колее, как слушаешь... Ходит да бродит по полям да по лесам, да вот и выходит этакое стихотворение... Княгиня-то живет на даче, он был у нее там. Какие, говорит, у нее бананы, цветы, бронзы! роскошь неслыханная! Знаешь ли, сколько у

нее дохода-то? Около миллиона! Нам с тобой хоть бы десятую долю этого, и тем были бы довольны! Ей-богу, так.

И старик сквозь слезы залился добродушнейшим смехом, ударив меня по плечу.

Когда я возвратился в гостиную, Лидия Ивановна встретила меня вопросом:

— А вы слышали, какой успех имел наш Иван Алексеич в большом свете?

Иван Алексеич как бы с упреком посмотрел на тетушку и, наклонясь ко мне и взглянув на Пруденского, сказал вполголоса с своею вкрадчивою и сладкою улыбкою:

— Все похвалы и восторги этих господ я, право, сейчас променяю на одно умное и дельное замечание доброго приятеля, потому что эти великолепные господа не понимают и не могут ценить искусства так, как мы, простые люди, понимаем его и ценим.

— Dixi! — произнес Пруденский, поправив свои золотые очки.

Скоро после этого Щелкалов и Наденька возвратились с прогулки. В Наденьке я нашел большую перемену: мне показалось, что она похорошела и что в лице ее было гораздо бо-

лее живости и одушевления. Щелкалов не изменился ни на волос. Он вошел в комнату, напевая, бросился на стул, положил нога на ногу, так что носок его сапога коснулся края круглого стола, за которым сидела Лидия Ивановна, осмотрелся в свое стеклышко, увидел меня, промычал свое длинное а-а-а! и протянул мне руку через голову, а я думал: откуда это у тебя, любезный друг, снова английские-то экипажи и лошади? Но впоследствии оказалось, что все это не принадлежало Щелкалову, а было взято им у приятеля и что Щелкалов бросал пыль в глаза, как и всегда, на чужой счет.

— Ваша Надежда Алексеевна, — начал Щелкалов, — большая трусиха; она боится, если лошадь побежит рысью; а моя Бьютти смирна, как ягненок, и выезджена так, что ею может управлять не только такой взрослый и пожилой человек, как я (барон улыбнулся), но восьмилетний ребенок; к тому же Надежда Алексеевна уверяет, что у нее голова кружится, потому что она не привыкла сидеть на высоте.

Щелкалов обернулся к Наденьке и посмот-

рел на нее насмешливо.

— Конечно! — возразила, улыбаясь, Наденька, — вы не поверите, ma tante, как это страшно сидеть так высоко!

Я заметил, во-первых, что Наденька кокетничала с Щелкаловым, и, во-вторых, что действительно присутствие его нимало уже не стесняло остальных членов семейства.

Щелкалов за чаем даже свысока подтрунивал над Пелагеей Петровной как над известным уже ему лицом; а Пелагея Петровна без малейшей застенчивости, как знакомого, угощала его кренделями и сухарями, да и Макар поглядывал уже на него очень фамильярно, почти как на всех нас.

За чаем Щелкалов вдруг шуточным тоном произнес, обращаясь к нам:

— Знаете, мне вдруг пришла в голову блестящая мысль! Ее надо будет осуществить непременно, а осуществление ее будет зависеть от всех нас, милостивые государи и милостивые государыни!

Все посмотрели на него, а Лидия Ивановна прибавила:

— Говорите, говорите, барон; вы мастер на

выдумки. Мы заранее согласны подчиниться вашей фантазии.

Когда Щелкалов заговорил, мне показалось, что Наденька вспыхнула.

— Да-с... ну, так вот в чем дело. Надобно, как можно, разнообразить летние удовольствия. Против этого, я надеюсь, вы спорить не будете?..

— Нисколько, — произнес со сладкой улыбкой Иван Алексеич.

— Тем более, — заметил Щелкалов, — что уже теперь осень. Пруденский и Иван Алексеич захохотали этой остроте.

— Я предлагаю устроить пикник, — продолжал Щелкалов, — место для этого пикника назначается превосходное — Дубовая Роща, удовлетворяющая всем потребностям: там парки, сады, целые леса, озера, отличная поляна и, наконец, весь дом, если хотите, к вашим услугам, потому что его хозяин — мой друг.

— И мой! — перебил Веретенников.

— А управляющий знает меня чуть не с детства, — продолжал Щелкалов. — Мы там охотимся всякую осень; к тому же это недалеко

ко отсюда... не более пятнадцати верст, кажется. Ну-с, как вы об этом думаете?

Мысль эта в самом деле, кажется, улыбнулась всем, потому что, все в один голос воскликнули "прекрасно!", исключая молодого человека, влюбленного в Наденьку, который при этом предложении побледнел так, что бойкая барышня начала махать ему в лицо веером, сложенным из бумаги, и, засмеявшись, сказала довольно громко:

— Что с вами? вам дурно?

Щелкалов, не обращая внимания на эти эпизоды, продолжал:

— Итак, вам эта мысль нравится, судя по вашему одобрительному восклицанию?

Теперь остается дело за назначением дня и за устройством всего. Устройство я беру на себя и обещаю вам, господа, что будет все устроено не дурно.

— Можно ли в этом сомневаться! — воскликнула Лидия Ивановна.

— Ай да барон! Ей-богу, молодец! — воскликнул добродушно Алексей Афанасьич и потер себе руки от удовольствия, прибавив: — А там в леску я еще поохочусь за гриб-

ками!

— Назначайте же день, — сказал Щелкалов.

— Чем скорей, тем лучше, — возразил Пруденский, — вы теперь, барон, как Гомеров Девкалид, и про вас можно сказать:

"Так говорил он; и все, устремившиеся с духом единым, Стали кругом Девкалида, щиты к раменам преклонивши..." Цитата пропала даром, потому что Щелкалов даже зрачком глаз не повел в ту сторону, где был Пруденский.

— Я всегда к вашим услугам: во вторник, в среду, четверг, когда хотите.

— В четверг? — сказала Лидия Ивановна, обращаясь ко всем нам. — Угодно вам?

Мы все, кроме влюбленного молодого человека, изъявили согласие наклоением голов.

— Прекрасно! Теперь обратимся к существенному — к деньгам. Это не касается до дам, господа, это уж наше дело. Охотников из ваших знакомых, верно, наберется довольно. Я полагаю, двадцать рублей с человека будет достаточно. Как ты думаешь, Веретенников?

— Я думаю, довольно.

— За двадцать рублей я вас так накормлю и напою, что, надеюсь, вы скажете мне спасибо. Я пошлю к управляющему накануне моего повара, вина, фрукты и прочее.

Ну, подавай-ка деньги, Веретенников, — я начинаю с тебя.

Веретенников вынул двадцать рублей и подал их Щелкалову. Щелкалов разложил их на столе, пригладил рукою и посмотрел на нас.

— Вы согласны? Вы из наших? — спросил он, обратясь ко мне.

— Да, — отвечал я, подавая ему деньги.

Пруденский, услышав о цене, наморщился в первую минуту, однако отошел в сторону, вынул деньги, отсчитал двадцать рублей, помуслил палец и потер одну депозитку, которая ему показалась потолще других, полагая, не склеились ли как-нибудь две, и потом, снова пересчитав, подал деньги Щелкалову.

— Камни для фундамента уже есть, — заметил Щелкалов, продолжая складывать депозитки одна на другую и потом разглаживая их рукою.

— А ты-то, братец? что же? — сказал Алексей Афанасьич влюбленному молодому человеку, — если у тебя нет с собой денег, хочешь, я за тебя отдам?

— Нет, я не поеду, я не расположен, — отвечал молодой человек сухо, заметив радость на лице Наденьки, что все так скоро устроилось.

— Вздор, теперь поздно, ведь ты не протестовал против этого, когда говорили.

— Федор Васильич, отчего же? — сладко произнес Иван Алексеич, глядя по плечу молодого человека, — зачем же отставать от друзей?

Бойкая барышня взглянула на молодого человека так нежно, как бы умоляла его согласиться. Он несколько минут колебался и, наконец, решился.

— На сколько же можно рассчитывать? — спросил Щелкалов, — это мне нужно знать заранее. Нас здесь семь человек.

— Еще за пять я вам смело отвечаю, — сказала Лидия Ивановна. — Мы знаете кого можем пригласить между прочим? (Лидия Ивановна обратилась к Алексею Афанасьичу)...

Астрабатова!.. Не правда ли?

— Почему же нет? Он еще возьмет с собою гитару, и бесподобно!

— Семь и пять — двенадцать, — продолжал Щелкалов, — ну что ж, и довольно; а коли найдете еще кого-нибудь, тем лучше. Итак, дело в шляпе. — Щелкалов сунул деньги в карман и прибавил, оборотившись к нам: — разумеется, господа, каждый в своем экипаже... собираются здесь... в четверг, ровно в одиннадцать часов... так ли? не рано ли?

Щелкалов посмотрел на Лидию Ивановну.

— О, нет, барон! даже еще пораньше не мешало бы, — отвечала она.

— Только во всяком случае не позлее одиннадцати, — прибавил он.

Мы все согласились на это...

— Посмотрите, какая прелесть — луна-то, луна-то! — вскрикнул сзади меня Алексей Афанасьич, указывая на луну, которая глядела в окно сквозь ветви сосны, — пойдемте, господа, на крылечко.

И он всех нас вытащил на крыльцо, за исключением Щелкалова и Веретенникова, которые остались с дамами.

— А знаете ли что, Иван Алексеич? — сказал Пруденский в то время, как Алексей Афанасьич восхищался луной, — мысль пикника, без сомнения, прекрасна, это не подлежит спору; но цена дороговата, как хотите! Эти господа привыкли швырять деньгами, так им двадцать рублей нипочем, а нашему брату, воля ваша, это чувствительно.

— Правда, правда! — подтвердил Иван Алексеич, почесывая в затылке и поморщиваясь, но потом, сладко улыбнувшись, прибавил: — ну уж куда, впрочем, ни шло! вы не будете после жалеть об этих деньгах. Вы посмотрите, как это все будет устроено; поверьте, барон на это мастер.

— Предполагать должно, но ведь и то сказать, двадцать рублей с брата!

— Вы увидите, что этот пикник не удастся, — сказал мне молодой человек, влюбленный в Наденьку, — все будут женированы, согласия не будет ни малейшего; эти господа, по обыкновению, станут ломаться; поверьте, пикники хороши только между своими, между очень близкими.

Молодой человек был не в духе. Мы вместе

с ним раньше всех отправились домой, тихонько от хозяев дома.

— Ну что, — сказал он в волнении, когда мы сели в дрожки, — вы теперь собственными глазами убедились в справедливости моих слов?

— Да, почти, — отвечал я.

— И как вам это нравится! отпускают девочку одну с этим господином! Ну, скажите, прилично ли это?

— Не совсем, — отвечал я.

— А когда гуляют, так он всегда уйдет с ней вперед или отстанет от всех, и никто как будто не замечает этого. Ольга Ивановна — вот эта барышня, что у них гостит, — говорила мне, что Надежда Алексеевна только и бредит этим бароном...

Молодой человек, незаметно увлекаясь, признался мне дорогою, что Надежда Алексеевна ему точно очень нравилась, что и она, по-видимому, была расположена к нему и что он даже имел намерение просить ее руки.

— Теперь я вижу, — прибавил он в заключение своих признаний, — что я сделал бы ужаснейшую глупость. Она пустая, ветреная

девушка, которую увлекает только один внешний блеск; она помешана на светскости. Этот барон подвернулся на мое спасение, чтобы открыть мне глаза.

Молодой человек в эту минуту был еще все влюблен в Наденьку, потому что он говорил о ней с раздражением и горячностью. Я было вступился за нее, но он не хотел ничего слышать.

— Да что, скажите, — перебил он меня, — что он богат, что ли? Ведь между этими господами трудно отличить богатого от тароватого.

— Это правда, — отвечал я, — но у Щелкалова едва ли есть что-нибудь.

— То-то и мне кажется. Вы знаете, что с месяц назад тому он занял у Алексея Афанасьича две тысячи?

— Кто же это вам сказал?

— Мне сказала Пелагея Петровна, это верно. Алексей Афанасьич воображает, что у него груды золота. И точно, если судить по его манерам да по рассказам, так сдуру примешь его, пожалуй, за миллионера. Но я боюсь, что бедный Алексей Афанасьич не только капитала, да и процентов-то не увидит!..

— Не мудрено, — возразил я.

На другой день я обедал в ресторане. В одной со мною комнате сидели два господина — военный и штатский. Они разговаривали так откровенно и громко, как будто были одни в комнате. Речь сначала шла о каком-то Коле и о Дарье Александровне. Военный находил, что Дарья Александровна одна из самых хорошеньких женщин в Петербурге. Штатский перебил его.

— Нет, любезный друг, — сказал он, — я недавно видел девочку, так вот девочка! Удивительная, прелесть что такое! перед ней твоя Дарья Александровна просто дрянь... Ты знаешь Щелкалова?

— Еще бы! — отвечал военный, — ну так что ж?

— Я его раза два встретил по парголовской дороге с этою госпожою. Прежде я решительно никогда и нигде не видал ее. Третьего дня он попадаетеся мне на Невском, я и вцепился в него: "Кто это, братец, такая хорошенькая, с которой я тебя встретил?" — "Где? когда?" Он, знаешь, прикинулся, как будто не догадался.

"На парголовской дороге", — я говорю. Тут

он промычал "а-а!", остановился на минуту и говорит: "Это одна моя знакомая". Я к нему пристал, ну и он, разумеется, мне во всем признался; но кто она такая и где он скрывает ее, — это неизвестно; уж как я к нему ни приставал, он ни за что не говорит, а чудо что за девочка!

— Каков Щелкалов-то! — воскликнул военный.

— Да, не глуп! — прибавил штатский.

Дальнейшего разговора я не слышал и не желал слышать. В эту минуту я окончил свой обед и вышел из комнаты.

## Глава V,

**из которой проницательный читатель усмотрит многое, во-первых, что хлыщи бывают различных родов; во-вторых, что великосветские хлыщи в свою очередь робеют и иногда делаются неловкими; и в-третьих, что они разоблачаются и обнаруживают себя вдруг, совершенно неожиданно даже для самих себя, причем также вполне объясняется читателю значение не всеми употребляемого, но приятного для слуха слова хлыщ**

**В** четверг ровно в одиннадцать часов я уже был у Грибановых и нашел там довольно многочисленную компанию. Весь двор был заставлен экипажами. Почти все были в сборе, за исключением Щелкалова и Веретенникова. День был прекрасный, даже довольно жаркий для осени. На небе ни одного облака... Я застал мужчин и дам в разных комна-

тах: мужчин в зале, а дам в гостиной в ожидании минуты отъезда.

В зале ораторствовал господин небольшого роста, коренастый и уже не первой молодости, завитой, весь в перстнях и в цепях. Это был Астрабатов. Я вошел тихо и остановился, никем не замеченный, потому что все внимание в эту минуту было обращено на Астрабатова.

— Главное — в душе, — говорил он, — остальное все вздор и внимания не стоит.

Когда вот эдак, как мы, соберемся по душе, когда все люди подходящие, как натурально и весело, и есть будешь лучше, и пить больше... Ведь вот хоть бы этот старик-то...

Астрабатов с хитрою улыбкою направил свой указательный палец, плоский, широкий и четверугольной формы, украшенный перстнем с бриллиантовым солитером, на Алексея Афанасьича.

— Это редчайшей души старик, первый сорт, это человек со вздохом, у него всё начистоту, всё на ладони, без задоринки; а ведь иной эдак и вылощен с виду-то, ком иль фо, а попробуй погладить, так и завозишься!..

Астрабатов повел головою кругом и вдруг остановился на мне.

— Вот этот (он пальцем указал на меня), этот тоже подходящий к нам.

Я знал Астрабатова давно, хотя совсем не коротко, и встречался с ним редко. Он говорил мне, как и всем, ты, потому что принадлежал к числу таких людей, которые через полчаса после знакомства с человеком говорят уже ему непременно ты...

— Здравствуй, душенька, — продолжал он, приближаясь ко мне с намерением заключить меня в объятия, — то есть разутешил, что приехал, ей-богу! Ну чмокнемся, братец... Сто лет не видал тебя.

И он обнял меня.

— Черт его знает, — продолжал он, обращаясь ко всем и ударяя меня по плечу, — сам не знаю, за что люблю его... Вот здесь-то у него, правда, горячо, так и пышет!

И он приложил свою широкую ладонь к моему левому боку.

Освободясь от Астрабатова, я поздоровался с хозяевами дома и с остальными гостями.

— Ну, теперь только дело за бароном, — за-

метил Алексей Афанасьич, — мы все, кажется, в сборе, ведь уж четверть двенадцатого... никак не может не опоздать!..

А пора бы уж и в путь.

Щелкалов и Веретенников приехали около двенадцати.

— Барон, — сказал Алексей Афанасьич, встречая его. — Не стыдно ли, а еще сам все толковал, чтобы собраться ровно к одиннадцати.

— Что такое? разве я опоздал? разве теперь больше одиннадцати? — возразил он рассеянно, важно кивнув нам всем головою и проходя в гостиную, где были дамы.

Астрабатов подошел ко мне и, указав головою на Щелкалова, сказал вслед ему:

— Не узнает! Вишь, как голову-то загнул. Да нас, брат, этим не удивишь! Мы видали и почище тебя! На плечах-то шелк, а в кармане щелк!.. Ах, душа моя! — продолжал он, кладя мне руку на плечо, — черт ли в человеке, когда у него теплоты нет. Терпеть не могу эдаких...

Веретенников, пожав мне руку и как бы не заметив Астрабатова, стоявшего возле меня,

хотел отправиться вслед за Щелкаловым в гостиную. Но Астрабатов схватил его за фалду сюртука.

— Куда! — сказал он ему, — нет, брат, стой! Что у тебя темная вода в глазах, что ли, что ты не видишь старых знакомых?

Веретенников с едва заметной, но иронической улыбкой измерил Астрабатова.

— А-а! здравствуй, — произнес он довольно сухо, — ты как попал сюда?

— Я, брат, везде, где хорошие люди с теплотой!.. Ох, уж вы мне, бонтоны! Туда же шпильки подпускают, да нет, ведь меня не оцарапаешь, не таковской! Я этих загвоздок терпеть не могу, душа моя; по-моему, коли действуй, так действуй начистоту.

— Оригиналы! — воскликнул Веретенников, обратись ко мне, поправив свои воротнички и принужденно засмеявшись, — неправда ли?.. — И с этим словом ускользнул в гостиную.

Астрабатов проводил его глазами, покачал головой и произнес:

— Положим, что оригиналы, да не накрахмаленная обезьяна, как ты!

Он скорчил гримасу и вздохнул, потом взял меня за руку и сказал:

— Пойдем, душа моя, туда за ними, посмотрим на этих бонтонов-то, как они там ломаются перед барынями и отпускают им заколючки на розовом масле. Мы, братец, люди несветские; надо поучиться у них толочь лоделаван в ступе. Мы напрямик; коли заговорило здесь (Астрабатов указал на сердце), так, не думая долго, бух на колени... и без всякой эдакой риторики: "У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человек со вздохом", и мы по опыту знаем, душа моя, что это действует на барынь вернее. Как ты думаешь?

Он прищелкнул языком, зажмурил правый глаз, схватил меня за руку и потащил в гостиную.

Там Щелкалов, лежа в волтеровском кресле, с розаном в бутоньерке и с пахитоской в зубах, рассказывал что-то дамам, которые окружили его кресло.

Мы застали его на следующих словах:

— Это была минута ужасная, — говорил он, — лошадь закусила удила и мчала графиню прямо к реке; берег этой реки крутой и по-

чти отвесный; она была уже не более, как шагах в пятидесяти от берега, но в это мгновение я пускаю свою лошадь за нею во весь карьер, не сознавая ничего, нисколько не думая об опасности...

Передняя нога ее лошади уж висела над бездной в ту минуту, как я поравнялся с нею. Я схватил графиню одною рукою за талию, перебросил ее к себе на седло и в то же мгновение другою рукою с такой силой осадил свою лошадь, что она совсем грянулась на задние ноги. Я соскочил с нее и положил графиню на землю. Она была, разумеется, без памяти... Ну, в это время к нам подоспели остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнула в реку и тут же пала, разбившись грудью о камни...

Щелкалов, произнеся последнее слово, вставил в глаз свое стеклышко и обзрел своих слушательниц. Лидия Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня с двойным золотым лорнетом, Наденька и другие барыни и барышни — все в один голос невольно ахнули с послед-

ним словом Щелкалова: так поразил их его геройский подвиг; а Астрабатов, наклонясь к моему уху, шепнул:

— Да это он, братец ты мой, кажется, лупит чистоганом из не любя не слушай...

Ах ты, Малек-Адель эдакой! — воскликнул он громко, глядя на Щелкалова, и потом продолжал, обратясь к дамам: — то есть ух! какой тонкости, я вам доложу, человек по амурному отделению, — беда! Слава богу, десять лет его знаю, не десять дней... Послушай, барон (он снова поглядел на Щелкалова), а помнишь ли третьягоднишнюю лебедянскую сказку? Забыл, что ли?

В голосе Астрабатова послышалось внутреннее раздражение.

— Тогда без Астрабатова не обходился никто... обед ли, ужин ли или что-нибудь эдакое — подавай сюда Астрабатова! Астрабатова обнимали, качали; Астрабатов, моншер, душу свою отдавал вам без залога и без процентов... Астрабатов, сделай то; Астрабатов, дай это (он указал на карман); Астрабатов, съезди туда;

Астрабатов, спой. Астрабатов все делал для

вас — и ездил, и хлопотал, и пел...

Как заговорит, бывало, тут, в левом боку, сейчас гитару в руки, щипнул два-три аккорда со слезой, да как потом зальешься эдак задушевно, изнутри; так, я думаю, ты сам помнишь, — люди, у которых были нервы из вязиги, — и те, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нет, да душа есть, а в душе — главное...

Астрабатов — это всем известно — в пять дней пять тысяч рублей серебром просадил. Да! вот каков Астрабатов-то!

Он вынул из кармана огромный сафьянный бумажник и хлопнул по нем рукою.

— Пять тысяч, моншер, вот из этого бумажника вынул, как одну копейку, в пять дней! — потом, вздохнув, прибавил: — В нем-таки перебивало порядочно деньжонок! И нынче, благодаря бога, водятся... А в Петербурге Астрабатова на улице или в гостях встречают: не узнают. Здесь Астрабатов не нужен, потому что здесь фаетоны да бонтоны, здесь вытанцовывают па-де-дё на столичных деликатностях в вершок ширины; а задушевности, моншер, вот отсюда-то идущей, из глубины, теп-

лоты-то этой, — этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувстве не спрашивай... А в сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дело.

Астрабатов приостановился на минуту, посмотрел, несколько прищурясь, на дам, удивленных его импровизацией, вынул из кармана пестрый раздушенный фуляр, высморкнулся и сказал, улыбаясь:

— Pardon, mesdames! я человек со вздохом, люблю попросту, без всяких эдаких закорючек, сердечно высказать все, когда закипит внутри; а там, знаешь, каждый получай по адресу...

Щелкалов в первую минуту, когда Астрабатов заговорил, обернулся на этот голос, взглянул на него и потом в продолжение всей его речи измерял его с ног до головы в свое стеклышко с презрительной улыбкой. Когда же Астрабатов кончил, барон захохотал, встал с кресла, протянул ему руку, как бы удостоивая его особой чести, и сказал, не глядя, впрочем, на него:

— Здравствуй... Ну, что, все такой же, как всегда?... особенный, свой язык, как ни у кого?

оригинально... очень! — И потом, обратясь к Лидии Ивановне, прибавил: — большой чудак! Не правда ли? А я и не знал, что вы с ним знакомы...

Астрабатов значительно посмотрел на него.

— Полно, душенька, эрфиксы-то выпускать, — произнес он, — с старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся.

Он бесцеремонно обнял Щелкалова и протянул к нему свои губы. Щелкалов поморщился, не совсем охотно позволил поцеловать себя и потом, отойдя от него, сказал мне:

— Вот, батюшка, тип-то! Не правда ли? Каков молодчик?.. Но как же можно пускать этого господина в дом?..

Вскоре после этого экипажи были поданы и все начали собираться в путь. Перед самым отъездом Астрабатов схватил за руку Ивана Алексеича, который бежал к коляске с каким-то узлом.

— Постой, душа моя, — сказал он ему, — ты ведь меня знаешь, и мы, кажется, понимаем

друг друга. Ты поэт; а я, братец, хоть и не пишу стихов, но здесь у меня в груди кипит поэзия: и слеза, и вздох, и песня — всё тут! Так ли? скажи...

— Еще бы! — возразил Иван Алексеич, крепко пожав руку Астрабатова с свойственным ему сладким выражением, — я знаю, что ты поэт в душе; но пора, братец, ехать; мы и без того уж опоздали... Надо вот еще уложить этот узел...

— Нет, погоди, брат, погоди! — перебил его Астрабатов, — тебе известно, что я действую начистоту, напрямки, этикетки только уважаю на бутылках, а церемоний терпеть не могу; так велика ты, душенька, на дорогу-то подать мне бальзамчику да кусочек черного хлеба с солью. Как набальзамируешь эдак слегка желудок перед обедом, так и аппетит лучше и на душе покойнее, да и от сырости предоохранишь себя. Нельзя без этого. Ведь в воздухе нынче эпидемии так и хлещут!

Астрабатов выпил две большие рюмки водки, крякнул, закусил черным хлебом и произнес:

— Ну, вот теперь хоть на край света!

В это время происходила страшная суматоха. Дамы в шляпах и бурнусах толпились на крыльце и на дорожке палисадника, которая вела к калитке; мужчины — одни кричали своих кучеров, другие отыскивали свои пальто и шляпы; Макар в ливрее травяного цвета с галунами о чем-то очень хлопотал и суетился с необыкновенно серьезным выражением в лице; горничные совались без толку из угла в угол...

Коляска Щелкалова, запряженная четвернею в ряд, которою управлял кучер страшной толщины с огромною крашеною бородою, подъехала первая к калитке. Щелкалов предложил садиться Лидии Ивановне и Наденьке и сел напротив них сам с Веретенниковым. Его ливрейский лакей, в красных плюшевых штанах, ловко захлопнул дверцы коляски, оттолкнул Макара, который подсунулся было ему под руку, вскочил на козлы, гордо сел, подбоченясь левой рукой, и закричал: "Пошел!" Когда коляска двинулась, бойкая барышня с лорнетом шепнула что-то влюбленному в Наденьку молодому человеку, который изменился в лице и хоть улыбнулся,

но очень печально.

Затем все начали рассаживаться в свои экипажи.

Мне пришлось ехать с бойкой барышней и с влюбленным молодым человеком. Дорогою я заметил, что между ними происходило что-то особенное. Она как-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала немилосердно, играя своим двойным лорнетом.

Когда мы проехали уже верст пять, сзади нас послышался звон бубенчиков и страшный крик: "Правее! правее! Эй, вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно...

Правее!" И вслед за тем пронесся мимо нас, чуть не задев колесом о наше колесо, небольшой охотничий тарантас, запряженный тройкой с бубенчиками и с разными балаболками на сбруе. Этой тройкой правил, стоя, молодой ямщик в плисовой поддевке, в плоской шляпе почти без полей набекрень, украшенной венком разноцветных георгин. В этом тарантасе сидели Аменаида Александровна с Астрабатовым.

Астрабатов, поравнявшись с нами, вско-

чил на ноги, снял свою бархатную фуражку и, помахивая ею в воздухе, закричал, обращаясь ко мне:

— Что, душа моя, какова троечка-то? У меня, братец, русская душа. Вот она наша поэзия-то!..

Мы приехали в "Дубовую Рощу" в начале третьего часа. Первое лицо, попавшееся нам, был Астрабатов, который у подъезда флигеля, где были приготовлены для нас комнаты, расхаживал с кнутом в руке, всех встречая и хватая своей троечкой и своей русской душой.

Щелкалов, по знакомству с хозяином и управляющим "Дубовую Рощею", устроил все с величайшим эффектом и комфортом. Нам отдан был в распоряжение целый флигель с пятью комнатами. В первой большой комнате, украшенной дубовыми гирляндами, был накрыт длинный стол, уставленный хрусталем, фруктами и цветами; направо две небольшие комнаты, также все в цветах, назначались для дамских уборных; комната налево для мужчин; а в стеклянной галерее за этой комнатой помещался буфет.

Лидия Ивановна, Наденька, а за ними все

остальные дамы поочередно приходили в восторг от вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкалов принимал эти изъявления довольно равнодушно, гордо прохаживался с своим стеклышком, кричал на людей и дружески трепал по плечу толстого управляющего с печатками на животе, который явился к нему узнать, доволен ли он его распоряжениями. Я заметил в то же время, что этот управляющий посматривал на всех нас остальных, на дам и на мужчин, с какой-то подозрительной гримасой недоумения, которую можно было растолковать так: "Да откуда же это таких господ и госпож навез с собою барон? Я таких сроду не видывал".

Иван Алексеич подходил ко всем с своей сладкой улыбкой и с одним и тем же вопросом: "Каков барон-то? Я ведь говорил, что он все сумеет устроить как никто.

Оно хотя дороговато, да ведь зато, посмотрите, как все хорошо".

И затем одному он указывал, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со сливами, третьего приводил в буфет, где был выставлен строй бутылок, и так далее.

У Пруденского разгорались на все глаза, и, казалось, он совершенно начинал забывать потраченные им двадцать рублей: поправляя очки, он разглядывал с глубокомысленным вниманием и ананас, и персик; читал на бутылках ерлыки; брал бутылку в руку, рассматривая ее со всех сторон, и улыбался про себя.

Поваренки, бегавшие по двору, также немало занимали его.

— Вишь, — заметил он с удовольствием, — плуты, бегают, и сколько их! Видно, работы-то много! Полагать должно по всему, что нам предстоит недурной обедец, а возлиятельная часть в наилучшем устройстве. Лафит и сотерн под золотыми и серебряными печатями! — И потом продолжал, пародируя Гомера:

Мы будем за пиршеством — Мирно беседу вести; среди нас цветущая Геба (он указал на проходившую в эту минуту Наденьку) — Нектар кругом разольет... и кубки приемля златые, Чествовать будем друг друга, на луг сей зеленый взирая... (При этом он указал пальцем в окно и осклабился самою доволь-

ною улыбкою.) Астрабатов ударил его своей широкой ладонью по спине и сказал:

— Полно ораторствовать-то! ведь ты здесь не в школе, а вот выпьем-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватил дважды перед отъездом и один раз после приезда, да чувствую потребность еще: что-то щемит под ложечкой. Хватим-ка, дружище, по рюмочке.

Пруденский очень поморщился при слове школа, но потом, однако, улыбнулся и отвечал с юмористическим выражением по-малороссийски:

— Добре...

Когда дамы поправили свои туалеты после дороги, все отправились гулять в парк.

Барон под руку с Наденькой; молодой человек, влюбленный в нее, с бойкой барышней; Астрабатов с Аменаидой Александровной; остальные врассыпную, в том числе и я. Когда в глубине парка мы очутились с обеих сторон среди густого березняка и когда Алексей Афанасьич увидел гриб, у него так и загорелись глаза.

Он бросился к нему, дрожащей рукой оторвал его от корня, с восторгом вскрикнул:

"О, да здесь, я вижу, должно быть, пропасть грибов! Господа, кто хочет со мной на охоту?" И, перепрыгивая с кочки на кочку, как молодой человек, он в минуту скрылся от нас в чаще леса. За ним последовали Пруденский, Иван Алексеич и еще два мне неизвестных господина, а мы отправились далее по дороге парка.

Дорога все шла под гору, и когда мы спустились с горы, направо перед нами открылось озеро, замыкавшееся с одной стороны крутым и лесистым берегом, а с другой болотистым пространством, поросшим частым, высоко вытянувшимся, но тощим березняком и осиною. Почти посредине озера возвышался небольшой остров, густо заросший мелким лесом и кустарником, в зелени которого виднелась беседка, сложенная из березы. У самого спуска к озеру, куда мы подошли, к перилам небольшой пристани привязана была лодочка, и здесь по распоряжению предупредительного управляющего ожидал нас мужик с багром и веслами, в случае если бы кому-нибудь из нас захотелось покататься на озере.

Мы остановились здесь, потому что дамы

заахали от восхищения, когда перед ними сюрпризом открылось озеро.

— Ах! и лодочка! — воскликнула Наденька.

— А вы не боитесь кататься на лодке? — спросил ее Щелкалов.

— Отчего же? если так тихо, как теперь...

— Ну так поедemте.

— А кто же будет гресть?..

— Гресть буду я.

— Да разве вы умеете?

— А вот вы увидите. Хотите, что ли?

Наденька в нерешительности посмотрела на Лидию Ивановну.

— Поезжай, мой друг, отчего же? — возразила Лидия Ивановна, — верно, ктонибудь еще из дам пожелает покататься.

И она обратилась к дамам с приятной улыбкой.

— Ах, нет, как можно! страшно на такой маленькой лодочке! — воскликнули в один голос несколько дам.

Щелкалов, не обращая ни малейшего внимания ни на Лидию Ивановну, ни на этих дам, велел отцепить лодку, вскочил, в нее, взял от мужика багор и весла и протянул руку

Наденьке.

— Ну прыгайте, — сказал он, — докажите, что вы не трусиха и имеете доверенность к гребцу.

Наденька колебалась с минуту и наконец прыгнула в лодку.

— Больше никого взять нельзя, — сказал Щелкалов решительно, — опасно, потому что лодка очень мала. Мы проедемся немного, я выпущу Надежду Алексеевну и потом, если кто-нибудь захочет...

Щелкалов пробормотал последние слова, упираясь багром о пристань и отталкивая лодку от берега, и, не докончив фразу, бросил багор в лодку, снял с себя шляпу, сел, потрянул головой, взмахнул веслами, которые блеснули на солнце, — и легкая лодочка, рассекая синеватую и гладкую поверхность воды, понеслась по направлению к острову. Все это совершилось в одно мгновение, так что никто из нас не успел опомниться.

Для молодого человека, влюбленного в Наденьку, это была, кажется, решительная минута, потому что он с этих пор почти перестал говорить с нею и начал, вероятно в от-

мщение ей, уже совершенно явно ухаживать за бойкою барышнею с лорнетом.

Мы все остались на берегу, за исключением Аменаиды Александровны и Астрабатова, которые или отстали от нас, или ушли вперед.

Белые облака, густыми грядами теснясь друг к другу, тянулись по небу; солнце вскоре скрылось за ними; синева постепенно пропала с поверхности озера, и оно принимало свинцовый оттенок. Сероватое небо, сероватая вода и мелкий болотистый обредевший лес, со всех сторон окружавший нас, — все это было несколько печально. Говор вдруг смолк, порывистый ветер по временам сильно качал вершинами деревьев, с которых слетали пожелтевшие листья, и пробегал рябью по поверхности озера.

Мы молча следили за движением лодочки, и мне, я сам не знал отчего, вдруг стало жаль Наденьку.

Лодка причалила к острову. Мы видели, как Щелкалов выпрыгнул из нее и протягивал руку Наденьке, как Наденька соскочила на землю, как потом Щелкалов привязывал

лодку к дереву и как они отправились наконец в глубину острова и скрылись за деревьями.

Это даже подействовало не совсем приятно и на Лидию Ивановну, потому что она сказала очень серьезно и с заметным раздражением в голосе:

— Какие глупости! к чему это они вышли на берег? И начала кричать: "Наденька! Наденька!"

Но крик этот пропал напрасно.

Прошло четверть часа ожидания, но ни Щелкалова, ни Наденьки не показывалось.

Потеряв терпение, все разбрелись по парку; остались на берегу Лидия Ивановна, Веретенников и я. Это происшествие расстроило прогулку: дамы несколько надулись на Лидию Ивановну, Лидия Ивановна чувствовала также какую-то неловкость, и когда прошло еще четверть часа, она не могла уже долее скрывать своего волнения.

— Однако это ни на что не похоже, — сказала она, обращаясь к нам. — Peut-on faire des choses comme ça? Я непременно Наденьке вымою голову. Ну можно ли, что из-за нее все гу-

лянье расстроилось?

Мы начали успокаивать Лидию Ивановну, как умели. Наконец лодочка, к нашему удовольствию, снова пришла в движение, но подвигалась к нам очень лениво; гребец едва шевелил веслами. Мы уж начали махать платками и кричать:

— Скорей! Скорей!

Лидия Ивановна встретила Наденьку очень мрачно. Она обратилась к Щелкалову хотя и с приятною улыбкою, но не без иронии:

— Вы видите, барон, из пятнадцати нас осталось только трое — это самые терпеливые; мы таки дождались вас...

— Что такое? — возразил Щелкалов, — разве мы ездили так долго? Я показывал Надежде Алексеевне беседку на острове. Там такая дичь, что мы насилу добрались до этой беседки... Да разве уж так поздно? Мы опоздали, что ли, куда-нибудь?

— Нет, но это расстроило немного нашу прогулку.

— Отчего? — сказал Щелкалов, — что за вздор! пусть они там гуляют, где хотят; что

нам за дело до них, мы будем гулять сами по себе. Не правда ли?

Он засмеялся, поглядел на всех нас, предложил руку Лидии Ивановне и отправился с ней вперед, значительно смягчив этим поступком ее неудовольствие.

Мы пошли за ними. Я взглянул на Наденьку. Она была в большом замешательстве и едва отвечала на мои вопросы.

Обедать было назначено в четыре часа; оставалось до обеда еще три четверти часа, и мы возвратились, по предложению Щелкалова, назад осмотреть комнаты большого дома, где, по словам его, было несколько недурных картин.

Взглянув на эти картины, очень, впрочем, сомнительного достоинства, и пройдя по комнатам, которые были меблированы в новейшем вкусе и не представляли ничего особенно любопытного, мы возвратились в наш флигель.

Щелкалов отправился в столовую осматривать, все ли в порядке. Я пошел вслед за ним.

Он с видом знатока бросил взгляд на стол в свое стеклышко, потом обозрел кругом всю

комнату, крикнул раза два на лакеев, велел позвать к себе француза-повара и начал о чем-то его расспрашивать, качаясь на стуле и не смотря на него, но внутренне наслаждаясь теми знаками благоговения, которые оказывали ему повар и вся прислуга.

В столовой давно уже прохаживался Пруденский с Иваном Алексеичем в нетерпеливом ожидании обеда.

Пруденский подошел ко мне и, показывая часы, сказал:

— На моих без пяти минут четыре. Пора бы уже приступить и к трапезе, да, кажется, еще не все в сборе. Посмотрите, Алексей Афанасьич непременно проморит нас, я уверен. Он, чего доброго, до ночи проходит за своими грибами и забудет обо всех нас. Мы с Иваном Алексеичем аукали его, аукали, так и не дозвались.

Пожалуй, еще заблудится в лесу. Чего доброго? Уж его ждать невозможно, как хотите: семеро одного не ждут. Сама народная мудрость, выражающаяся в этой пословице, послужит для нас достаточным оправданием в таком случае.

— Разумеется, папеньку ждать нечего, — возразил Иван Алексеич, прохаживаясь около стола, уставленного разнообразнейшими закусками, и бросая на них жадные взгляды, — старик ведь в самом деле может проходить до вечера; от него это легко станется, он для грибов точно забывает часто обед и все на свете.

Посмотрите, Пруденский, какая жирная и белая селедка-то, а с балыка так и каплет! Удивительный балык! Эдаких я не видывал здесь.

— Кажется, все будет хорошо, — сказал Щелкалов, подходя к Ивану Алексеичу.

— У, барон! что и говорить, — перебил Иван Алексеич, придерживая барона за талию обеими руками и бросая на него совсем сахарный взгляд, — мастер, мастер все устроить.

— Таким тонким знатокам в гастрономии, — заметил Пруденский, — позавидовал бы и древний Рим. Вы воскрешаете для нас, барон, лукулловские времена... А уж, признаться, пора бы, совершив омовение и возложив на главы венки, возлечь за пиршествен-

ный стол.

Щелкалов вкось взглянул на Пруденского, удержавшись от улыбки, потому что он не хотел удостаивать его даже и улыбки.

— Да! ведь уж почти четыре часа, — вкрадчиво произнес Иван Алексеич.

— Обед через четверть часа будет готов, мне сейчас сказал Дюбо.

— А этот Дюбо должен быть художник в своем деле! — опять ввернул свое словцо Пруденский.

— Да ведь, кажется, еще не все собрались? — спросил Щелкалов, по обыкновению не замечая Пруденского и обращаясь к нам с Иваном Алексеичем.

— Я не знаю, — отвечал Иван Алексеич, — но во всяком случае отца ждать нечего; он будет даже очень доволен, что его не ждали, я уж знаю его натуру...

Щелкалов не дослушал Ивана Алексеича и, напевая себе что-то под нос, направил шаги в комнату перед буфетом, сделав знак лакею, чтобы следовал за ним.

— Надо пойти узнать, все ли возвратились, — сказал Иван Алексеич, — и объявить,

что обед сейчас будет готов. Ужасно есть хочется, у меня сегодня, кроме чашки кофею, ничего во рту не было.

Иван Алексеич обратился ко мне с своею улыбкою:

— Я, знаете, нарочно ничего не завтракал, имея в виду такой обед.

— И благоразумно поступили! — воскликнул Пруденский, — а я так нарочно по этому случаю два дня диету держал. Мне-то еще больше вашего есть хочется.

И точно, Пруденский должен был чувствовать сильный голод, потому что, ходя по комнате и разговаривая со мною, он не мог отвести своих очков от стола с закусками.

Мало-помалу начинали собираться в столовую по приглашению Ивана Алексеича. В комнату же, назначенную для мужчин, по распоряжению Щелкалова, до обеда не велено было никого впускать. Для этого был поставлен даже лакей у двери.

— Да пусти же, братец, хоть на минутку, я забыл там сигарочницу, — говорил влюбленный молодой человек лакею, стоявшему у дверей.

— Никак нельзя-с, — отвечал лакей.

— Это отчего?

— Барон не приказали никого впускать.

Молодой человек вспыхнул.

— Убирайся ты к черту с твоим бароном! — закричал он, оттолкнув лакея, и хотел взяться за ручку замка.

Но лакей встал поперек двери и произнес решительным голосом:

— Воля ваша, сударь, никак нельзя.

Молодой человек начал было горячиться, но мы все бросились его успокаивать.

— Да что ж такое там делается? — спросило несколько голосов у лакея.

— Не могу знать-с.

— Ведь ты врешь, дурак, ты знаешь, говори же! — закричал кто-то.

Лакей глупо улыбнулся и отвечал:

— Не могу знать-с. Шум увеличивался.

В эту минуту вошел Щелкалов. Все обратились к нему.

— Господа, — сказал он, — ваши вещи, которые в той комнате, вам сейчас принесут, но туда не войдет ни один из вас до обеда. Вы меня выбрали распорядителем, следовательно,

должны мне повиноваться и верить, что я все устроиваю к вашему же удовольствию.

И, произнеся это с необычайною важно-стью, он отправился далее.

— Верно, какой-нибудь сюрприз готовится, — сказал Иван Алексеич, провожая приятною улыбкою барона и в то же время близясь к столу с закусками.

Он взял кусочек селедки, положил его в рот и, как будто желая скрыть от других такой преждевременный поступок, начал смотреть в окно, напевая что-то; потом, проглотив кусочек, как ни в чем не бывало, обратился к нам, осмотрел всех и сказал:

— Что ж? Мы теперь, кажется, все на лицо, кроме папеньки?

— Астрабатова нет, — заметил с беспокойством Пруденский.

Иван Алексеич поморщился, но Астрабатов в эту же минуту вошел в столовую.

— Вот легок-то на помине! — закричали ему Пруденский и Иван Алексеич.

— А что?

— Да уж и обедать пора, — отвечал Иван Алексеич, — пятый час в начале...

— Обедать? — возразил Астрабатов, потирая подбородок, — почему ж? это дело подходящее... Ну, душа моя, — продолжал он, обращаясь ко мне вполголоса, — какую мы с этой барыней учинили прогулку, то есть я тебе скажу! Она, знаешь, певица, я ведь тоже певец, так мы там под березками такой дуэтец пропели, что любо-дорого, без фальшу, братец, чудо как согласно! Она было знаешь: "Да я не могу, да я не в голосе", а я ей напрямик: "Полноте, сударыня, я терпеть не могу этих закорючек. Попробуем: споемся — так хорошо, нет — ну на нет и суда нет..." Уж зато как же и спелись, душенька!

Астрабатов приложил пальцы к губам, чмокнул, прищурил левый глаз и прибавил:

— Теперь, братец ты мой, надо пропустить внутрь укрепительной.

За обед сели в половине пятого, не дождав-шись Алексея Афанасьича. В ту минуту, когда дамы вошли в столовую, дверь, охранявшаяся лакеем, отворилась, и хор полковых музыкантов грянул увертюру из «Сомнамбулы». Дамы пришли в неописанный восторг от этого сюрприза, да и кавалеры остались очень доволь-

ными. Тайна охраняемой двери была для нас разгадана.

Иван Алексеич с салфеткою в руке и с замасленными губами, потому что у него весь рот был набит сардинками, бросился в порыве неудержимого чувства к Щелкалову с намерением, кажется, обнять его, но тот ловко отклонил угрожавший ему поцелуй, и порыв окончился только крепким пожатием рук и сладким взглядом со стороны Ивана Алексеича. Обед и вина были превосходные. Все это вместе с музыкой привело присутствующих в самое веселое расположение духа, а некоторых более нежели в веселое. Еще обед не дошел до половины, как Пруденский начал уже обниматься с своими соседями, а Астрабатов отпускать невероятные любезности сидевшим против него дамам, к счастью, заглушавшиеся громом музыки.

Щелкалов очень неблагоприятно поглядывал по временам в свое стеклышко на тот конец стола, где сидели Пруденский и Астрабатов. Он обратился к Веретенникову и ко мне и, скорчив гримасу, произнес:

— Нельзя сказать, чтобы мы находились в

очень избранном обществе. Как вы думаете, господа?

— Да! черт знает что такое! — возразил Веретенников, охорашиваясь и поправляя свои воротнички.

Между тем Иван Алексеич, удовлетворив свой аппетит несколькими блюдами, которые он накладывал в значительном количестве на тарелку, и залив их вином, изъявил беспокойство об отсутствии папеньки. Лидия Ивановна начала также приходить от этого в некоторое смущение, а Наденька с самого начала обеда с беспокойством посматривала на двери. Наконец в половине обеда, к общему удовольствию, старик появился с двумя огромнейшими котомками, наполненными грибами, весь в паутине.

— Уф! — произнес он, складывая котомки на стул, — как ни торопился, а всетаки опоздал, зато вот вам еще лишнее блюдо.

И он указал на свои грибы.

— Мы никак бы не сели без вас, — заметил Щелкалов, — если бы не ваш сын и не Лидия Ивановна.

— И прекрасно сделали, что не ждали ме-

ня, я этого терпеть не могу; а вот я теперь вымоюсь да выпью потом водочки, да и догоню вас. Ведь вы еще не съели всего? Ведь для меня что-нибудь осталось?.. Да мне, пожалуй, ваших-то утонченных блюд и не нужно. У меня есть свое блюдо.

Старик улыбнулся и потом обратился к Щелкалову:

— А вот ты окажи-ка мне услугу, барон: так как уж ты распорядитель, велика повару-то хорошенько изжарить нам на сковородке эти грибки со сметаной. Грибки все как на подбор молоденькие, свеженькие. Это блюдо будет лучше всех ваших заморских блюд-то, и вы мне за него скажете спасибо, я знаю.

— Превосходная мысль! — воскликнул Щелкалов. — Дюбо жарит грибы удивительно... Послать сюда повара!

Дюбо, низенький и полный, в пышной белой фуражке и в куртке снежной белизны, с огромнейшим перстнем на указательном пальце во вкусе Астрабатова, вошел в столовую и расшаркался перед бароном.

— Что прикажете, господин барон? — сказал он по-французски.

— Приготовьте нам сейчас эти грибы, — сказал Щелкалов, указав на котомки с грибами, — как следует по-русски со сметаной, на сковородке, помните, так, как вы подали их нам в прошлом году на обеде, который давал граф Красносельский.

— Очень хорошо, господин барон будет доволен.

— Мусье Дюбо, сметанка-то чтобы была эдак поджарена, понимаете? — сказал Алексей Афанасьич на русском языке, поглаживая Дюбо по плечу, — а грибки-то были бы в соку, чтобы не слишком были засушены.

Дюбо посмотрел с любопытством на Алексея Афанасьича и пробормотал:

— Корошо, корошо.

— Вы не беспокойтесь, он знает свое дело, — заметил Щелкалов, которому вмешательство Алексея Афанасьича было не совсем приятно.

Дюбо отправился к тому месту, где лежали грибы, но на полдороге был остановлен Пруденским, который, обтерев губы салфеткою, встал и счел необходимым, пожав руку повара крепко и с чувством, сказать ему по-фран-

цузски латинским произношением:

— Vous etes un veritable artiste, мусье Дюбо!

— Fichtre! je crois b'en, m'sieur, — отвечал Дюбо с достоинством.

— C'est mon ami! — воскликнул Астрабатов, указывая на Дюбо, и, погрозив ему пальцем, прибавил: — ах ты, плут, француз!

— Ah! bonjour, m'sieur Astrabat! — закричал Дюбо, протянув без церемонии руку Астрабатову.

Алексей Афанасьич между тем обчистился, вымылся и приступил к обеду. Грибы были приготовлены, к совершенному его удовольствию, отлично, и все, кушая их, обращались с похвалами к нему, а он кивал головой и улыбался самой счастливой улыбкой, приговаривая:

— Нет, ей-богу, этот Дюбо молодец! Я никак не ожидал, чтобы француз умел так хорошо готовить грибы!

Когда разлили шампанское, Иван Алексеевич встал, посмотрел на всех нас и начал импровизировать следующие стихи:

*Здесь дружба нас соединила,  
И пир наш весело кипит:*

*В нем есть и блеск, и шум, и сила...*

Он на минуту остановился и, обратясь к Щелкалову с приятнейшим выражением в лице, продолжал:

*Хвала тебе, наш сибарит!  
Твои — и мысль, и исполнение...  
И пир ты создал, как поэт!..  
Тебе от нас благодаренье!  
Тебе наш дружеский привет!  
Друзья! с поклоном поднимите  
Бокалы, полные вина,  
И в честь барона осушите  
Вы молодецки их — до дна!*

Последнему стиху Иван Алексеич придал особенную торжественность, выпил свой бокал до дна и с такою силою поставил его на стол, что тот разлетелся вдребезги.

У Алексея Афанасьича при стихах сына, разумеется, тотчас же закапали слезы из глаз.

— Браво! — раздалось со всех сторон. — Здоровье барона!

— Браво! — закричал громче всех Пруденский, немилосердно стуча ножом о стол. — Музыканты, туш!

Туш заиграли.

Щелкалов поклонился всем, встал со своего места, подошел к Ивану Алексеичу, пожал ему руку и, обратясь к нам, произнес важно:

— Господа! позвольте мне в свою очередь предложить вам тост... я заранее уверен в этом, он будет принят вами единодушно: за здоровье того, господа, который оживляет и украшает в настоящую минуту своими произведениями русскую поэзию... за здоровье того, чье имя должно быть дорого всем, кому близко к сердцу родное слово... Я не назову вам этого имени, господа, потому что каждый из вас внутренне назвал его в сию минуту...

— За здоровье Ивана Алексеича! — подхватил Пруденский.

И все бокалы с криками: "Туш! здоровье Ивана Алексеича!" устремились к бокалу растроганного поэта.

В эту минуту Алексей Афанасьич всхлипывал и вместо платка утирал слезы салфеткой.

Затем начались тосты в честь дам, в честь Алексея Афанасьича, какие-то отдельные тосты и даже потом тост в честь повара.

Когда вышли из-за стола, многие, и в том

числе Иван Алексеич первый, пристали к Астрабатову с просьбою, чтобы он спел что-нибудь.

Астрабатов обвел всех глазами и, положив руку на плечо Ивана Алексеича, сказал:

— Изволь, душа моя, для тебя спою, ты понимаешь поэзию, у тебя там кипит внутри-то, как и у меня же, я знаю; у нас там, братец ты мой, внутренняя гармоника... ну, вели подать мою гитару.

Гитара была принесена.

Астрабатов взял ее, щипнул пальцами струны и обвел глазами мужчин и дам.

В ту минуту, когда мы столпились около Астрабатова, управляющий, приходивший за чем-то, остановился и начал взглядывать на него с любопытством из-за плеча Пруденского. Астрабатов тотчас заметил это и, подойдя ко мне, шепнул, поведя на управляющего глазом:

— Это, моншер, что такое за энциклопедия?

Когда я ему объяснил, кто это, он взглянул на управляющего еще раз, положил гитару на стол, почесал в затылке, отодвинул в сторону

Пруденского, вытащил изумленного и сконфуженного управляющего вперед и закричал:

— Вина!

Потом осмотрел его с головы до ног, как бы любуясь им, погладил его с нежностью по лысине и сказал, все продолжая рассматривать его:

— Просто душака! (и приложил пальцы к губам). Мы с ним чокнемся и выпьем в знак дружбы.

Управляющий начал кланяться, благодарить и уверять, что не пьет.

— Эти, брат, закорючки ты оставь, я терпеть не могу, — возразил Астрабатов. — Вот тебе бокал!

Он подал ему бокал.

— Ну, пей, пей!.. Вот так, смотри! И он залпом выпил свой бокал.

Управляющий на минуту призадумался и потом последовал его примеру.

Астрабатов поцеловал его.

— Ну, теперь мы друзья, я к тебе еще приеду, душенька, в вашу "Дубовую-то Рощу" поохотиться. Теперь, кажется, посторонних никого нет. Так слушайте, если хотите, я спою

вам.

Он взял гитару, задумался на мгновение, откинул назад свои кудрявые волосы, в которых проглядывала уже седина, посмотрел на потолок, как бы ища вдохновения, ударил по струнам и запел, обратившись к дамам и закатив глаза:

*На заре ты ее не буди,  
На заре она сладко так спит,  
Утро дышит у ней на груди...*

Тенор Астрабатова не отличался ни свежестью, ни чистотою, но он был не без приятности; в нем было что-то раздражающее, производившее сильное впечатление на тех, которые не были слишком взыскательны в музыке и предпочитали Моцарту и Бетховену всякую русскую заунывную или цыганскую плясовую песню.

И потому, когда Астрабатов кончил, раздались самые искренние «браво» и рукоплескания; в особенности Пруденский и управляющий были сильно растроганы.

Даже и Щелкалов с Веретенниковым воскликнули:

— Браво! прекрасно!

Астрабатов взглянул на них, покачал головою и сказал:

— Да что вы там ни толкуйте, а у Астрабатова есть внутри и слеза и вздох; он вашей ученой музыки не понимает; он не учился там этим разным пунктам да контрапунктам вашим, он самоучка и действует не на голову, а на сердце. Не так ли, mesdames?

Астрабатов, немного прищутив один глаз, ударил по струнам и запел:

*Горные вершины:  
Спят во тьме ночной,  
Тихие долины  
Полны свежей мглой...*

— Ну, теперь, братцы, хоровую, да дружно! — вскрикнул он, становясь в позицию знаменитого Ильюшки, — mesdames, je vous prie.

Он взмахнул гитарой и запел:

*Мы живем среди полей  
И лесов дремучих, —  
Но счастливей, веселей  
Всех вельмож могучих...  
Наши деды и отцы*

*Нам примером служат,  
И цыганы молодцы,  
Ни о чем не тужат...*

При этом остановился, повел плечами, выставил правую ногу, обвел глазами поющих мужчин и дам, потрянул головою, поднял гитару, махнул ею, и хор грянул:

*Гей, цыганы! гей, цыганки!  
Живо, веселее!..*

Хор этот составляли Щелкалов, Веретенников, Надежда Алексеевна и Аменаида Александровна; остальные, кажется, только шевелили губами, да, правда, Пруденский еще подтягивал густым басом.

— Лихо! Аи да барыни! — сказал он, кладя гитару, — да за это вам надо непременно рученьки расцеловать. Дайте-ка приложиться.

Он поцеловал руку Надежды Алексеевны и Аменаиды Александровны и обратился к нам:

— А я вам скажу, что певцу-то следует теперь горло промочить. Пойдем-ка, друзья, к этому моншеру в гости.

Он указал пальцем на проходившего буфетчика, взял за руки меня и Щелкалова и по-

тащил нас, говоря Щелкалову:

— Ну-ка, распорядитель, распорядись, чтоб бутылку раскупорили.

Пруденский последовал за нами и, хватая сзади Астрабатова за плечо, кричал:

— Мы, *carissime*, выпьем за твое здоровье.

Когда бутылка была подана, Астрабатов налил четыре стакана. Пруденский, поправив очки, взял свой и воскликнул:

— От души пью за твое здоровье! У тебя дивный голос, проникающий до глубины.

И опорожнил свой стакан разом.

Мы также чокнулись своими стаканами со стаканом Астрабатова и отпили немного.

Астрабатов, выпив свой стакан, снова налил себе и Пруденскому и, остановившись с бутылкой над нашими стаканами, сказал:

— Что же? Ну, допивайте же.

Но ни Щелкалов, ни я не могли более пить и объявили об этом наотрез Астрабатову.

Он вздохнул и посмотрел на нас с выражением глубочайшего сожаления.

— Ах, вы! (и махнул рукой). Ну, положим, вот этот (он указал на Щелкалова) все выезжает на тонкостях, на экскюзе да на пермете,

а ты-то, душенька! — он обратился ко мне с упреком, — и ты туда же!.. Что ж, по-вашему, выпить эдак дружески, задушевно с теплым человеком — это не комильфо? Ну да черт с вами, как хотите! Мы выпьем вот с этим... (Астрабатов указал на Пруденского). Он хоть эдакой *hic, haec, hoc*, а малый-то в сущности с теплотой. Ну, душа моя, — продолжал он, обращаясь к нему, — оставим их, не нравится им вино, пусть пьют воду; *de gustibus non est disputandum...* так, что ли, по-вашему-то?

Щелкалов благосклонно улыбался, с высоты посматривая на Астрабатова.

— Ваше сиятельство, — сказал лакей (все лакеи везде величали почему-то Щелкалова сиятельным, и он не противился этому), — мусье Дюбо вас просит.

— Что ему нужно? позвать его сюда!

Дюбо явился, с извинениями подошел к барону и что-то шепнул ему.

Барон сделал гримасу.

— Хорошо, — сказал он, — сейчас!

И в ту же минуту обратился к Астрабатову:

— Астрабатов, нет ли у тебя пятидесяти рублей? Я тебе ужо отдам. Ему вот нужны за-

чем-то эти деньги.

Он указал на повара.

Астрабатов украдкой взглянул на меня и кивнул головой на Щелкалова, прищуря глаз, потом вынул свой огромный бумажник, положил его на стол, раскрыл, достал из него пачку ассигнаций, посмотрел на всех нас и сказал, обращаясь к Щелкалову, не без иронии:

— Пятьдесят? Да уж возьми, душа моя, лучше для круглого счета сто.

И он отложил две пятидесятирублевые бумажки.

Первое движение Щелкалова было взять эти деньги; он уже протянул к ним руки, но вдруг глаза его встретились с моими; что-то мелькнуло в голове его, может быть, воспоминание разговора, при котором я присутствовал, — он нахмурил брови и сказал важно:

— К чему мне твои сто рублей? Убирайся с ними. Мне нужно только пятьдесят, чтобы отдать ему.

Он взял со стола пятидесятирублевую бумажку и передал ее Дюбо.

— Я тебе отдам эти деньги через полчаса. У

меня нет мелких, надо разменять.

— Да что у тебя, серии, что ли, или банковый билет? — возразил Астрабатов. — Давай, моншер, я разменяю.

Но Щелкалов не слышал этого предложения. Он в эту минуту заговорил с кем-то и вышел из комнаты.

Астрабатов проводил его глазами, потер себе подбородок и сказал, обращаясь к нам:

— А напрасно не взял ста, ей-богу, так бы уж я и считал за ним ровно полторы тысячи. Он третьего года проиграл мне в Лебедяни тысячу четыреста, обещал отдать на другой день, да вот так и отдает до сих пор. Да мне деньги — вздор! Я за деньгами не гонюсь, и эти пропадут, я знаю: пусть не отдает, да будь вежлив, нос-то не задирай... Ведь этими эр-фиксами нынче никого не удивишь! Мы ничего не хуже тебя, брат, еще, пожалуй, посчитаемся родословными-то. Мое происхождение-то идет от персидских шахов, так мы еще чуть ли не почище тебя, душенька!

Астрабатов остановился и посмотрел кругом.

— А француз-то уж улизнул с деньгами...

Подавайте его сюда. Дюбо! Дюбо!

— Monsieur? — раздался голос из коридора.

— Сюда, мусье, сюда поскорей! Дайте-ка нам еще бутылочку. Ну, мусье Дюбо, — продолжал Астрабатов по-русски, кладя свою ладонь на плечо француза, — мы с тобой, душенька, выпьем. Слышишь? Ты уж не отнекивайся. Ведь ты меня знаешь.

Возьми стаканчик-то.

Дюбо, улыбаясь, взял стакан и поглядел на нас.

— Monsieur Astrabat шутник... il est tres gai.

— Ты ведь, душенька, артист, — продолжал Астрабатов, прицелкнув языком, — ведь ты не то, что какие-нибудь только фрикасе да финьзербы, нет! ты и пломпудинг английский и какие-нибудь российские грибки со сметанкой на сковородке представишь в таком виде, что пальчики оближешь. Ну, cher ami, поцелуемся и выпьем еще стаканчик. Вот так! Я вот как женюсь, так возьму тебя к себе в повара. Слышишь? Уж мы с тобой будем такие банкеты задавать, то есть екски, вот какие...

Астрабатов приложил пальцы к губам и

чмокнул.

— Весь город ахнет! Я тебе дам двести цел-  
качей в месяц жалованья. Будешь доволен?

— Tres-bien, tres-bien, — бормотал француз,  
кивая головой.

— Ну, а теперь с богом проваливай.

Когда Дюбо ушел, Астрабатов зевнул, поче-  
сал в голове и потом вскрикнул:

— Хлопец, гитару!.. Что-то там зашевели-  
ло внутри, — прибавил он, обращаясь к  
нам. — Погодите-ка, я вам спою эдакую, заду-  
шевную.

*Он взял гитару и запел:*

*Полюби меня, дева милая,  
Радость дней моих, ненаглядная!  
Если б знала ты весь огонь любви,  
Всю тоску души моей пламен-  
ной!..*

*Грустно в мире жить одинокому,  
Без любви твоей, дева милая!*

*Полюби меня, черноокая!*

*Ты звезда души беззакатная!*

*И любовь твоя обовьет меня*

*Своим пламенем упоительным,*

*Я умру тогда смертью чудною,*

*И завидною даже рыцарям!*

В ту минуту, как Астрабатов смолк, Иван Алексеич вбежал в буфетную.

— Господа, — сказал он, — вас дамы приглашают идти гулять, а в зале, покуда мы гуляем, устроят, что нужно для танцев.

Мы все отправились за Иваном Алексеичем, в том числе и Астрабатов, уже несколько покачиваясь.

Решили пойти в ту часть сада, где мы еще не были, — в беседку на горе, с которой открывался вид на окрестные поля, болота и деревни и откуда была видна далее черта моря у самого горизонта. Здесь, при закате солнца, представлялась картина великолепная, и многие нарочно делали parties de plaisir в "Дубовую Рощу", чтоб только посмотреть на закат солнца из этой беседки.

Щелкалов взял опять под руку Наденьку. Он был после обеда в самом приятном расположении духа, сделался очень прост и любезен со всеми, в разговоре относился даже к Пруденскому и два раза предложил ему какой-то вопрос. Мы все шли вместе толпой по широкой дороге парка. Астрабатов рядом с Наденькой. Он беспрестанно перебивал Щел-

калова своим балагурством, и барон нисколько не сердился за это и даже часто смеялся от чистого сердца, как и все мы.

— Ах вы, моя барышня! — говорил Астратов, прищуриваясь на Наденьку, — то есть просто первый сорт, пышный розанчик в густых сливках, эдакой bouquet de l'Imperatrice тончайшего аромата, чтобы нюхать только с осторожностью на коленях в табельные дни... И вы ведь не знаете, — продолжал он, обращаясь к нам, — сколько там, в этой внутренности заложено слез, вздохов, восторгов, эдаких улыбочек, от которых у человека делается боль в сердце и головокружение... какая у нее там эдакая калифорния с музыкой в сердце...

Слушая рассказы Щелкалова, перемешанные с балагурством Астратова, мы незаметно дошли до подошвы горы, на которой была выстроена беседка.

Вечер сделался удивительный, даже ни один осиновый листок не шелохнулся. Солнце, выглянув из облаков, за которыми скрывалось, тихо спускалось к безоблачному горизонту, обещая картину заката в полном блес-

ке. Было так сухо и тепло, как в начале лета, и только определенность в очертаниях облаков, сухость в тонах и резкость в колорите заката, да кусты и деревья, местами подернувшиеся золотом, пурпуром и темно-вишневым цветом, говорили о наступившей осени.

— Господа, — сказал вдруг Веретенников, с некоторым беспокойством поправляя свои воротнички, — там в беседке на горе какое-то общество. Я вижу мужчин и дам.

— Что ж, очень может быть, — возразил Щелкалов, — кто-нибудь с соседних дач, какие-нибудь немцы прибыли в чухонских таратайках наслаждаться закатом солнца. В хороший вечер тут всегда можно найти каких-нибудь любителей природы.

— Да, это правда, — пробормотал Веретенников, успокаиваясь.

И мы начали подниматься в гору со смехом, с песнями и со стихами, которые декламировали Иван Алексеич и Пруденский.

В нескольких шагах от площадки горы нам слышался довольно ясно французский говор и можно было даже различить голоса, в особенности один мужской, довольно гром-

кий и резкий голос.

Щелкалов вдруг весь изменился в лице и остановился.

— Что с вами? — спросила его Наденька.

— Что ж вы остановились? — кричали им, опережая их.

— Я немного устал, — отвечал Щелкалов, нахмурясь и неохотно продвигаясь вперед.

Я догадывался отчасти, в чем дело, и убедился вполне, что барон, несмотря на свою смелость и заносчивость, не имел ни малейшей способности владеть собой и при всем своем желании никак не мог скрывать своих ощущений.

Мои догадки оправдались, когда, взойдя на гору, я увидел человек восемь мужчин и дам, — мужчин, между которыми красовался господин, изобретший теорию поклонов; дам, при виде которых у Веретенникова захватывало дыхание. Щелкалов должен был встретиться с ними лицом к лицу. Они подъехали к горе с противоположной стороны парка, и экипажи их, стоявшие за горою, не могли быть видимы нами.

Щелкалов взошел на гору, все еще держа

Наденьку за руку, и очутился, как нарочно, прямо против одной блистательной дамы, которая из беседки вышла на дорожку.

Я не спускал с него глаз, стоя в стороне.

В первое мгновение он помертвел; глаза его тупо остановились, стеклышко выпало из глаза, рука, державшая Наденьку, опустилась. Он походил на человека, внезапно захваченного в преступлении, которое лишает чести и доброго имени, это было, впрочем, только мгновение, после которого он оправился, вставил в глаз стеклышко, приподнял шляпу и улыбнулся, но такой натянутой улыбкой, которая более походила на гримасу.

— *Madame la comtesse...* — произнес он, сделав шаг к великолепной даме.

— *Est-ce vous, monsieur le baron?* — сказала графиня с полуулыбкой, измерив Наденьку с ног до головы беглым взглядом и обведя всех нас остальных головою.

Более я ничего не слышал, потому что барон пошел рядом с графиней, удаляясь от нас и разговаривая с ней очень тихо. Они скоро присоединились к своему обществу и я увидел, как он, совершенно смущенный, начал

пожимать руки великолепных мужчин и дам, которые, как можно было догадаться, спрашивали его об нас, потому что в то же время бросали косвенные взгляды в нашу сторону.

Наденька несколько минут как вкопанная стояла на месте, оставленная своим кавалером.

Веретенников же только что взошел на площадку, как тотчас попятился назад, побежал с горы и скрылся.

Астрабатов показал мне на него.

— И эта раскрашенная кукла туда же! — сказал он, качая головой, — прячется в кусты, тоны задает, боится, видишь ли, чтобы его не заметили с нами; мы, душа моя, недостаточно комильфо для него. А ведь я полагаю, что эдакого мухортика и не заметили бы эти Талейраны-то! (Он мигнул на великолепного господина, изобретшего теорию поклонов.) Ну, а что касается до вон этих маркиз, которые кидают на нас эдакие косвенные с подходцем, то они и во сне-то не видали, что такое мусье Веретенников, даром что его четвероюродный брат женат на какой-то мамзе-

ли, троюродная сестра которой жила в компаньонках у барыни, которая приходится в седьмом колене родственницей какой-то графине... Чего ж тут в кусты-то прятаться?

Эта встреча вдруг совершенно расстроила все общество; все пришли в какое-то замешательство, всем сделалось неловко, все притихли, все оробели, сами, впрочем, не зная отчего; наши дамы исподтишка с подобострастием начали пожирать глазами тех дам: их шляпки, бурнусы, мантильи, движения, взгляды и прочее. Закат солнца был совершенно забыт.

А между тем солнце уже только вполовину было видно из-за горизонта. Охватив часть леса своим красноватым огнем, оно быстро скрылось, но еще на облаках долго потом отражался закат его резкими красноватыми полосами; и было что-то успокоительное в тишине синеющей ночи, нарушавшейся звонким трещанием стрекозы, и в необозримой дали, исчезающей в беловатых парах.

Наденька все стояла одна, поодаль от всех, бледная и потерянная, и смотрела в эту даль...

Щелкалова мы не видали более; он не

только не подходил ни к кому из нас, но как будто боялся даже взглянуть в нашу сторону и отправился с великолепным обществом.

Мы возвратились в наш флигель уже без стихов и песен... Дорогою всех говорливее был Астрабатов, всех молчаливее Наденька и Лидия Ивановна.

У порога флигеля нас встретил Веретенников.

— Что, душа моя, — сказал ему Астрабатов, — ты так вдруг как будто в воду канул, а об тебе там все эти княгини и графини очень беспокоились. Они узнали, что ты с нами, и всё говорили: да где же это мусье Веретенников? Подавайте нам мусье Веретенникова!

Астрабатов погрозил ему пальцем.

— Ты, канашка, знаешь, видно, где раки-то зимуют. Тебе подавай все эдаких в амбре, да в валансьенских кружевах!

Веретенников поправил свои воротнички, приподнял голову, взглянул на Астрабатова и пробормотал сквозь зубы:

— Это остроумие, что ли? И потом обратился ко мне:

— А вы слышали, что Щелкалов уехал? го-

ворят, графиня Софья Александровна увезла его с собою.

— Это, я думаю, не совсем деликатно со стороны его, — заметил я.

В самом деле, минут через пять управляющий явился к Лидии Ивановне и объявил ей, что "барон приказали-де очень извиниться перед всеми, что они должны были уехать с их сиятельством графиней Софьей Александровной и что они, дескать, просят г.

Веретенникова вместо них распорядиться танцами и всем".

— М-г Веретенников, вы слышали? — сказала Лидия Ивановна с иронической улыбкой, — извольте же исполнить поручение барона. Примите на себя все распоряжения. Верно, уж встретилось какое-нибудь очень непредвиденное обстоятельство, что барон так неожиданно оставил нас.

Лидия Ивановна в высшей степени была оскорблена поступком Щелкалова и едва могла скрывать это; Иван Алексеич пришел от того также в немалое замешательство, тем более, что все приставали к нему с бароном.

— Я, господа, — говорил он, — не отвечаю

ни за кого, кроме самого себя. Что мне такое барон? Я всегда знал, что он пустой человек и, как все светские люди, рассеянный; он не может отвечать за себя; но все-таки он имеет свои достоинства.

Притом, что ни говорите, он очень умен, господа!

И Иван Алексеич значительно покачал головою.

Начались танцы, но они шли как-то вяло. Веретенников не умел или не хотел дирижировать ими. Он важно расхаживал по зале, поправляя свои воротнички и по временам взглядывая на себя в зеркало. На бедную Наденьку жалко было смотреть — она усиливалась казаться веселою и беспрестанно изменяла себе. Ее волнение и расстройство бросались всем в глаза. Только две пары веселились от души и танцевали с жаром — влюбленный молодой человек с бойкой барышней, для которой он, казалось, уже совершенно забыл Наденьку, и Аменаида Александровна с Астрабатовым, который, танцуя, выделял различные штуки: поводил плечами и глазами, делал удивительные антраша, при-

жимал руку своей дамы к своему сердцу и даже становился перед нею на колени.

Несмотря на это, все как-то не клеилось, и мы разъехались в исходе одиннадцатого часа...

С этого дня бог знает какие слухи и сплетни начали распространять про бедную Наденьку.

Прошло две недели после этого пикника. Грибановы уже перебрались в город. Я зашел к ним и нашел все семейство в расстройстве: Наденька была нездорова; Лидия Ивановна не имела той приятности и предупредительности в лице, как обыкновенно;

Иван Алексеич был раздражен, и старик даже немного грустен...

После обыкновенных расспросов о здоровье и о прочем Лидия Ивановна с довольно ядовитой усмешкою объявила мне новость о том, что Федор Васильич (молодой человек, влюбленный в Наденьку) уже объявлен формально женихом Ольги Ивановны (бойкой барышни) и что у него есть богатый дядя, который дает ему, говорят, сто тысяч.

— Подцепила женишка хоть куда! — при-

бавила в заключение Лидия Ивановна, — и не мудрено. Уж такая бойкая особа, что беда!

— А вы знаете, какую штуку сыграл с нами этот барон-то? — сказал Иван Алексеич, ходя по комнате и вдруг остановившись передо мною.

— То, что он убежал-то от нас?

— Что! это бы еще ничего! Нет, послушайте. Вчерашний день является к папеньке этот повар француз Дюбо. Папенька, натурально, удивился зачем... Что же оказывается, как вы думаете? Надобно вам сказать, что этот Дюбо теперь без места: он в продолжение нынешнего лета брал на себя устройство пикников, различных загородных parties de plaisir и прочее. Он давно известен почти всей этой богатой молодежи и по ней знает барона и, разумеется, считает его также богачом. Барон адресовался к нему насчет нашего пикника, и Дюбо обязался устроить все самым лучшим образом, как и было, за пятьсот рублей. Барон дал ему сто рублей задатку, да в день самого пикника пятьдесят, — тем все и кончилось.

За остальными тремястами пятидесятью рублями он ходил к нему ежедневно, и барон

все говорил «завтра», наконец объявил ему, что еще не собрал деньги, что у него теперь нет своих, что будто бы... слышите?.. папенька взялся собирать и что он ждет этих денег с часу на час, да на другой день и улизнул в Москву. Дюбо, разумеется, пришел к папеньке, объяснил все: говорит, что он в ужасном положении, что с него требуют и погребщики, и фруктовики, что на него хотят подать жалобу, и прочее. Хорошо, что у папеньки случилось триста пятьдесят рублей, он отдал последние. Как вам это нравится?.. Папенька сделал еще неосторожность, — прибавил Иван Алексеич, немного приостановившись, — он дал ему две тысячи займы. Вот худо, если эти деньги пропадут, а после всего очень может случиться...

— Ну, полно, Иван! — возразил старик, несколько нахмурясь, и махнул рукой. — Бог с ним! Нет, он отдаст все эти деньги... я уверен... немножко замотался, знаешь, да не сумел вывернуться вовремя. Это, конечно, нехорошо; но он поправит все, я уверен. Вы, пожалуйста, только никому не рассказывайте этого, — сказал мне Алексей Афанасьич самым

убедительным голосом.

Но я, однако же, не выдержал и все рассказал господину с злым языком. Тот послушал меня, улыбнулся и сказал:

— Я ведь говорил вам, что он кончит дурно. Теперь еще какая-то Арманс в два дня вскружила ему голову, и он черт знает зачем поехал с нею в Москву. Неисправим, батюшка, ничем не исправим... Впрочем, вы успокойте этого господина Грибанова; его деньги не пропадут, я вам за них отвечаю.

И в самом деле, тотчас по возвращении Щелкалова из Москвы и через несколько дней после того, как я виделся с нашим приятелем, Алексей Афанасьич получил триста пятьдесят рублей, но при самом, впрочем, грубом письме, да еще с наставлениями.

"Я не привык, — писал ему Щелкалов, — чтобы кто-нибудь сомневался в моей чести, — и никому не позволю этого. Вам не следовало платить деньги Дюбо ни в каком случае и вмешиваться в мои с ним счета: отвечал за все я, а отдав ему эти деньги, вы показали свое сомнение в отношении ко мне.

Примите, милостивый государь, уверение

в том, что я никогда не был и не буду несостоятельным должником, в чем вы убедитесь, получив аккуратно в день срока деньги, которыми вы меня ссудили, с причитающимися на них процентами.

Имею честь быть..." и прочее.

Алексей Афанасьич нисколько, впрочем, не оскорбился этим: он отдал нам письмо, улыбаясь.

— Спрашивается, как же назвать такого молодца? — спросил глубокомысленно Пруденский, пробежав письмо через свои очки и возвращая его Алексею Афанасьичу.

В числе присутствующих тут в эту минуту находился один господин, чрезвычайно веселый юморист и славный рассказчик.

— Я знаю как, — возразил он. — Это хлыщ! Таких господ надобно непременно звать хлыщами.

— Что такое? — воскликнул Алексей Афанасьич, расхохотавшись, — как? как? повтори-ка еще.

— Хлыщ!

— Да что же такое это значит? Какое это слово? откуда оно? Я первый раз его слышу.

— Ну, об этимологии его вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я не знаю. Это слово сорвалось у меня с языка; но мне кажется, что оно совершенно характеризует такого рода господ, как, например, ваш барон.

Нам всем очень понравилось это слово: мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно, по нашей милости, начинает распространяться.

— Ну, а Астрабатов — это что такое? — спросил Иван Алексеич.

— Это также хлыщ, — отвечал веселый господин, — только барон великосветский хлыщ, а этот — трактирный. Ведь хлыщи бывают различных родов.

# ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ХЛЫЩ

## I. Детство

**М**не было тринадцать лет, когда меня реши-ли отдать в Благородный пансион. День отъезда моего из дома останется неза-бвенным в моей жизни. Карета уже была за-ложена и стояла у крыльца. Маменька, в шляпке с цветами, весело разговаривала с приживалкой в зале, где собралась вся наша дворня: лакеи, горничные, казачки, судомой-ки, поломойки и проч. провожать меня. Я сто-ял, совсем уже готовый к отъезду, возле моей старой няни, которая заливалась слезами и от времени до времени целовала меня, произно-ся задыхающимся голосом: "Голубчик ты мой!" Сердце мое болезненно билось, слезы беспрестанно выступали на глаза. Мысль, что я расстаюсь с родным кровом, со всем, близ-ким мне, с моим добрым дедушкой, с няней; что я не буду ночевать в своей комнате, на своей постели, под своим одеялом, не увижу кота Ваньку, мурлыкающего против на ле-

жанке, — все это вместе казалось мне ужасным, и я едва удерживался, чтобы не зарыдать вслух. Дверь из кабинета в залу отворилась, и на пороге появился дедушка. На нем был фрак со стоячим воротником, белый галстук, рубашка с манжетами, панталоны, застегнутые у колен пряжками, и сверх белых чулок высокие сапоги; волосы его были тщательно причесаны по старинной моде и напудрены. Светлое лицо его, полное кротости, любви и доброты, было серьезнее обыкновенного. Дедушка, как будто не замечая никого, прямо подошел ко мне, обнял меня, крепко поцеловал, перекрестил и произнес: "Господь с тобою! учись прилежно, этим ты утетишь свою мать и меня..."

В субботу я сам за тобой приеду..." И он еще раз поцеловал и перекрестил меня.

Все на минуту присели и потом поднялись. Няня начала укутывать меня, не выдержала и зарыдала. Все люди смотрели на меня жалостливо. "Полно, няня, полно, — говорил дедушка, — как тебе не стыдно! Ведь я через шесть дней привезу его тебе... О чем плакать?" Но голос дедушки несколько дрожал, на глазах

его также показались слезы, хотя он старался удерживать их и улыбался своей привлекательной, симпатичной улыбкой... Я целовал руку дедушки и как ни крепился, а мои слезы крупными каплями падали на его морщинистую руку.

— Ну, поедем, мой друг! — сказала маменька, вытирая глаза платком. — Простись со всеми людьми.

Я кланялся им, всхлипывая; они кланялись мне; некоторые из женщин плакали; появился и кот Ванька, который также смотрел на меня как-то жалостливо.

"Простись с Ванькой-то, батюшка!" — сказала мне няня, утирая слезы. Я наклонился к Ваньке, погладил и его поцеловал. Дедушка надел шубу и шапку и вышел провожать меня на крыльцо; за ним двинулась вся дворня. Няня не выпускала моей руки до той минуты, когда я занес ногу на ступеньку кареты.

— Няня, няня! — кричал дедушка, — походи в комнату. Ты простудишься: ты в одном платье.

Но няня не слышала ничего. С выбившимися из-под платка седыми волосами, с глаза-

ми, распухшими от слез, она не спускала глаз с окна кареты, в которое глядел я, делала мне различные приветливые знаки, крестила меня и кричала мне:

— Шейку-то закрой, батюшка, шейку-то! у тебя шейка открыта.

Дедушка также все смотрел на меня, улыбался и кивал мне головой.

Карета двинулась... Я в последний раз высунулся из окна. Людей уже никого не было. На крыльце оставались только дедушка и няня, — дедушка, осенявший меня крестным знаменем, няня, кричавшая мне в совершенном отчаянии: "Прощай, голубчик ты мой! прощай, родной ты мой!" У меня замерло сердце, и я упал головою к коленям, зарыдав и залившись слезами.

На полдороге, когда я пришел в себя и вытер глаза, маменька поцеловала меня и сказала:

— Ну, перестань! полно... хорошо ли, приедешь в пансион с распухшими глазами?

Ведь над тобой все будут смеяться. И о чем так плакать, я не понимаю! Ведь не вечно же тебе сидеть с дедушкой и нянькой... Тебе уж,

кажется, пора отвыкать от няньки. И тебя отдадут не в какую-нибудь народную школу: ты вступаешь в пансион, где все дети богатых и знатных отцов, все генеральские, графские и княжеские дети; тебе должно быть приятно иметь таких товарищей. Эта мысль должна утешать тебя. Старайся понравиться товарищам, заслужить их любовь. Это может быть тебе полезно со временем.

Маменька вздохнула и прибавила как будто про себя:

— В жизни главное — хорошие знакомства и связи.

Когда мы вышли из кареты и всходили на лестницу к директору, с семейством которого маменька уже предварительно познакомилась, с лестницы навстречу нам сбегал мальчик лет пятнадцати, мой будущий товарищ, с белым, румяным и круглым лицом, с карими масляными глазками, с волосами, густо напомаженными и тщательно приглаженными, в форменном собственном сюртуке очень тонкого сукна, с перетянутой талией.

Маменька остановила его вопросом:

— Позвольте вас спросить, миленький, гос-

подин директор дома?

Мальчик очень ловко раскланялся и отвечал:

— Дома-с; я сейчас только от него.

— А я вам привезла нового товарища, — продолжала маменька с любезною улыбкою, — это сын мой. Полюбите его.

Мальчик взглянул на меня, наклонил голову, улыбнулся, вынул из кармана тонкий платок, который пахнул духами, поднес его к носу, пробормотал: "очень рад-с", еще раз раскланялся маменьке и побежал.

— Какой прелестный мальчик! — заметила маменька, — и какие у него манеры! Вот тебе образец. Сейчас видно, что это благовоспитанное дитя, из хорошего дома.

Мальчик действительно в первое время моего пребывания в пансионе был для меня образцом к удовольствию моей доброй маменьки.

Фамилия его была Летищев — фамилия не совсем аристократическая, но он имел довольно важное, хотя отдаленное родство с материнной стороны. Маменька его причиталась троюродной сестрой одному графу, занимав-

шему значительную должность при дворе, которого она называла всегда кузенком.

Отец Летищева умер в чине гвардии полковника, за несколько лет до вступления сына в пансион, оставив в наследство жене и сыну огромные долги. Г-жа Летищева по смерти мужа, несмотря на затруднительные обстоятельства, не стесняла образа своей жизни. Когда, говорят, один из родственников ее мужа, вошедший в ее дела по ее просьбе, решился деликатно заметить ей, "что если все опять пойдет так, то может кончиться худо", она захохотала, измерила его с ног до головы и сказала:

— Например? что вы разумеете — худо?

— Да векселя будут представлены ко взысканию, имение продано с аукционного торга, вы останетесь ни с чем, и, может быть...

— Что же может быть?

— Вы меня извините, но может кончиться тем, что вас посадят в тюрьму.

— Меня? в тюрьму? — воскликнула она. — Это мне нравится! Во-первых, кто же сажает порядочных женщин в тюрьмы? Сажают бродяг... вон что ходят по улице. А к тому же я —

вы, верно, не взяли этого в соображение — по рождению графиня Каленская... Александр Федорыч мой... cousin...

— Все это я знаю, — возразил родственник, — все это очень хорошо, но только закон не берет ничего этого в соображение.

— Какой закон! Что такое? Бог знает, что вы говорите! Позвольте мне вам сказать, что все порядочные люди в долгу, как в шелку, однако ж все, слава богу, живут, дают балы, выезжают, и никого не сажают в тюрьмы...

После таких убедительных возражений рассуждать было нечего: родственнику осталось только раскланяться родственнице и оставить ее в покое. Он так и сделал. Все это я узнал впоследствии. В пансионе же мы считали Летищева страшным богачом, потому что он уезжал из пансиона и приезжал в пансион в карете четверней на вынос, привозил из дому множество конфет и разных сластей, рассказывал о том, какой у маменьки бывает приезд, сколько у дяденьки-графа орденов, звезд и комнат, как дяденька его любит, и проч., причем прибавлял, что у дяденьки нет наследников и что маменька говорит, что он

будет дяденькиным наследником. Некоторые товарищи не совсем доверяли Коле Летищеву, особенно касательно его дяденьки, зная привычку Коли все несколько преувеличивать и пускать пыль в глаза; но когда однажды сам дяденька во всем блеске и во всех украшениях явился в пансион, произведя величайшее смущение и суматоху, и, потрепав племянника по щеке, отдал ему, в присутствии директора и столпившихся кругом учеников, билет в ложу и произнес:

— Вот тебе, Федя, ложа в театр. Пригласи своих товарищей. Г. директор отпускает вас на сегодняшний спектакль, по моей просьбе.

После этого никто уже в пансионе, начиная с директора до последнего сторожа, не сомневался, что Летищев его наследник, и не только начальство, даже многие из товарищей начали поглядывать на Летищева как-то иначе, гораздо приветливее, а сторожа обнаруживать перед ним большую угодливость и вежливость.

Коля после дяденькиного визита возмечтал о себе ужасно; его смущало только одно, что граф назвал его при всех Федей, вместо

Коли, и дал повод некоторым товарищам подтрунивать над тем, что дядя не знает его имени, что он, верно, видит его в первый раз в жизни, и тому подобное.

Впрочем, к Коле и приставали умеренно. Все — не то, чтобы любили его, а так, чувствовали к нему особое приятное расположение, бессознательно образовавшееся вследствие четверни на вынос, приезжавшей за ним в пансион, его тонкого собственного сюртука, склянки духов и банки с помадой, которые лежали в шкапчике у его постели, вместе с щеткой из слоновой кости, и знатного родственника с украшениями.

Коля не отличался ни особенными умственными способностями, ни большим прилежанием; но он имел дар показываться всегда на первом плане. Он вдруг брал смело то, что другие приобретали постепенно усиленными трудами. Он озадачивал и приводил в совершенное смущение учителей. Когда доходила очередь до него, он вскакивал со своей скамейки, с самоуверенностью отрезывал урок без остановки, не запнувшись ни на одном слове, и, не давая учителю времени

опомниться, садился на скамейку торжествующим. Учитель после минуты сомнения покачивал обыкновенно головою и ставил ему хорошие баллы. После классов Коля умел очень ловко вступать в разговор с учителем и вставлять в этот разговор имя дяденьки-граффа. Вследствие всего этого Коля, плохо учившись, умел прослыть прилежным учеником, и его ставили в пример товарищам, которые были во всех отношениях несравненно лучше его. Директор звал его не иначе, как Николаем Андреичем, а директорша, величайшая охотница до танцев, была от него в восхищении, потому что на ее танцевальных вечерах, которые бывали довольно часто, Коля отличался, как большой, угождал ей и ее дочерям, любезничал с дамами и танцевал, как никто...

— Что это за чудный мальчик! — хором твердили обыкновенно гости директорши, жены учителей, гувернеров и инспекторов. — Нельзя налюбоваться им.

— О, да! и притом говорит по-французски, как француз! Он пойдет далеко, — замечала директорша, — и немудрено: он родной пле-

мянник и наследник графа Каленского... При том он один сын у матери, которая обожает его. Ах, какая она милая дама и притом с каким богатством, с каким вкусом одевается!.. Что мудреного: она ездит ко двору, она была фрейлиной... У нас много княжеских и графских детей, но Колю Летищева ведут так, что он ни в чем не уступит ни графским, ни княжеским детям. Его еще лучше держат.

— Он, — замечала при этом инспекторша, — я слышала от ихней компаньонки, Луизы Ивановны, дома носит не иначе, как батистовое белье...

Колю не жаловали только те, очень, впрочем, немногие из товарищей, которые на аристократов поглядывали вообще мрачно. Эти немногие причисляли к аристократам вообще всех тех, которые говорили по-французски, занимались своим туалетом и имели, как говорится, хорошие манеры. Один из этих преследователей аристократии, молодой человек, коренастый и косой, которому на вид можно было дать лет двадцать, ужасно перепутал однажды Колину маменьку. Он был в приемной комнате в ту минуту, когда она

приехала и прямо вошла в эту комнату, вся в соболях и в бархатах.

— Вызовите мне, пожалуйста, моего сына, — произнесла она по-французски, обращаясь к нему.

Ученик, ненавистник аристократов, взглянул исподлобья своими косыми глазами на барыню в соболях и бархатах, сжал свои кулаки, что он делал только в минуты совершенного замешательства, и произнес густым басом:

— Кё?

Барыня чуть не упала в обморок при этом кё и при этих кулаках; но, к счастью, в эту минуту вбежал директор, узнавший о ее приезде. Директор, грозным голосом и страшно нахмурясь, закричал на косоного ученика:

— Что вы здесь делаете? Подите вон!..

И бросился с низкими поклонами и приятнейшими улыбками к барыне, мгновенно изменив свой грубый голос в самый мягкий и вкрадчивый.

— Quelle horreur! — произнесла Колина маменька, приходя в себя, — как он меня перепугал! Неужели это ваш воспитанник — това-

рищ моего сына?..

— Да-с, что делать! К сожалению, — отвечал директор с глубоким вздохом, — это какой-то Митрофан, прямо привезенный к нам из деревни.

— Ты, пожалуйста, мой милый, — повторила она потом своему сыну, — держи себя подалее от этого страшного вашего ученика, который говорит кё... Это какое-то чудовище... И какой он ученик? ему пора жениться.

Коле, впрочем, не для чего было делать эти наставления, потому что Коля и без того держался в кругу самом избранном, т. е. между товарищами с именами и с деньгами. Что же касается до косоного ученика, произнесшего кё, то он вовсе не был так страшен, как полагала Колина маменька; кроткий, трудолюбивый, прямой и честный по натуре, он не мог выносить только одного: когда видел, как некоторые из его товарищей ухаживали за аристократами, льнули к ним, сияли счастьем, прохаживаясь с ними под руку по коридорам, в виду всех. При таком зрелище косоного ученик всегда плевался и произносил:

— Ах, подлипалы поганые, сволочь!

Большая часть товарищей смотрели на него, как на юродивого. Ученики низших классов бегали за ним и дразнили его: показывали ему языки, корчили гримасы, дергали его за фалды, и тогда, выведенный из терпения, он схватывал первого попавшегося ему под руки и начинал его так ломать, что у бедного только кости хрустели. Оттого он получил прозвание костолома; но у этого костолома было самое мягкое и нежное сердце: раз, когда, играя в лапту, он нечаянно хватил палкой по носу одного ученика и чуть не проломил ему кости на носу, он притворился больным, чтобы вместе с ним идти в больницу; в течение месяца не отходил от его постели, ухаживал за ним, как сиделка, изменился, похудел и чуть сам не слег в постель, успокоясь только тогда, когда подбитый им товарищ начал выздоравливать.

Однажды во время гулянья — это было в половине августа — после каникул, воспитанники играли, бегали и ходили по широкому двору, усыпанному песком и обнесенному липовой аллеей. На этом дворе, между двух выдвинувшихся флигелей, расположен был неболь-

шой садик с клумбами цветов — фантазия инспектора, имевшего большие наклонности к садоводству. Косой ненавистник аристократов, Скуляков, которого, кроме костолома, товарищи звали также Кулаковым, занимался копанием грядки: земляная работа была его страсть. Некоторые из его врагов аристократов и между ними Коля прогуливались под руку по дорожкам садика. Коля нечаянно, а может быть и с намерением, проходя мимо Скулякова, толкнул его и, не обращая на него внимания, прошел дальше. Скуляков воткнул лопатку в землю, скосил глаза более обыкновенного и закричал Коле:

— Эй вы, послушайте! что вы толкаетесь-то?

Коля продолжал идти, не удостоив даже обернуться на эти слова.

Скуляков побледнел, сделал несколько шагов ему навстречу и остановился прямо перед ним. Коля взглянул на него, изменился в лице, но старался принять на себя вид беззаботный и равнодушный.

— Я вам говорю, как вы смее толкаться! — повторил Скуляков.

— Извините! — пробормотал Коля небрежно, взглянув с улыбкою на товарища, с которым прогуливался, — я нечаянно, я вас вовсе не заметил, — и сделал шаг вперед, чтобы продолжать свой путь.

Скуляков загородил ему дорогу.

— Вы думаете, — продолжал он, — что у вас тонкий сюртук, что вы душитесь и помадитесь, да височки прилизываете, да хвастаетесь своим дядей, да пофранцузски болтаете, так вы можете толкаться, не извиняясь... а это на что? — Скуляков засучил рукав своего сюртука, сжал посиневший от синего казенного сукна свой огромный кулак и подставил его перед глазами Коли. — Видите?

На эту сцену сбежалось несколько любопытных, как обыкновенно водится в таких случаях. Коля сказал:

— Что ж, вы воображаете, что испугаете меня, что ли, вашим кулаком?

— Да уж я там не знаю, а я вот только что вам скажу... вот все будут свидетелями. — И Скуляков обвел своими косыми глазами собравшихся. — Если только вы когда-нибудь посмеете сделать мне какую-нибудь грубость,

то я вам кости переломаяю... слышите? Не даром же вы зовете меня костоломом... Помните же!

Произнеся это, Скуляков обернулся назад, очень спокойно возвратился к своей грядке, взял лопатку и продолжал свою работу.

Коля был несколько минут после этого в страшном волнении. Он вышел из садика, сопровождаемый двусмысленными улыбками свидетелей этой сцены; видел эти улыбки, и самолюбие его было страшно уязвлено, тем более, что Скуляков, несмотря на свои лета, был ниже его классом. Коля выходил из себя, ужасно горячился и через минуту после этого, в своем классе, ударив рукою по столу, закричал:

— С этим мужиком я не мог ничего сделать... Ведь нельзя же мне связываться с ним, когда он лезет с кулаками... Если бы у меня была шпага или пистолет — это другое дело. Но это ему не пройдет даром: я вам даю честное слово, господа, что после выпуска я буду с ним стреляться.

И Коля, говоря это, расхаживал по классу петушком, вздирал голову кверху, гордо улы-

бался и корчил совершенного героя. Воображение успокоило несколько его самолюбие. Однако после этого он вообще старался избегать встреч со Скуляковым, а при неизбежных встречах очень осторожно обходил его и при этом даже несколько смягчал выражение своего лица. После этой сцены Коля, впрочем, несколько понизился во мнении товарищей, а на Скулякова даже и некоторые из аристократов начали посматривать иначе и вели себя в отношении к нему гораздо осторожнее.

Ко мне Коля чувствовал расположение, хотя посматривал на меня свысока, как воспитанники старших классов обыкновенно смотрят на младших. Он протезировал меня, вероятно, потому, что видел мои усилия подражать его манерам, походке и прическе. Коля был только двумя годами старше меня; но эти два года неизмеримо разделяли нас. Ему было уже шестнадцать лет, и он подбривал пушок, едва показывавшийся на его усах, когда раз в субботу, перед роспуском, он подошел ко мне и сказал:

— Если вас отпустят завтра из дому, приезжайте ко мне обедать. У меня обедают на-

ши — князь Броницын и еще кое-кто... Отпроситесь из дому. Я вас познакомлю с маменькой.

Я отвечал:

— Непременно буду.

Непременно я не мог сказать, потому что еще не совсем был уверен, отпустят ли меня; но это слово невольно сорвалось у меня с языка, потому что я хотел показать, что уже не ребенок и пользуюсь некоторою независимостью.

Отправляясь домой, я все мечтал о следующем дне; но при мысли быть представленным Колинъкиной маменьке, которая на вид была такая гордая, робость овладела мной, и желание быть у Коли начало бороться во мне с этою робостью.

Я объявил дедушке и маменьке о полученном мною приглашении, упомянув, между прочим, имя князя Броницына.

Дедушка, выслушав меня, посмотрел на меня очень пристально, и, когда я кончил просьбою отпустить меня, он произнес своим мягким голосом, потрепав меня по плечу:

— Если тебе очень хочется, дружок, по-

жалуй; но ты лучше сделал бы, если бы остался с твоим стариком-дедушкой.

— Нет... почему же ему не ехать? отпусти-те его, папенька! — возразила маменька, — надо же привыкать ему быть в хорошем обществе, приобретать манеры, развязность...

Дедушка едва заметно нахмурился.

— Какие манеры, матушка? — перебил он, — ему надобно прежде всего думать об ученье, а не о манерах. Какие это манеры у вас, я не понимаю!

Маменька замолчала, но, как мне показало-сь, несколько иронически взглянула на де-душку и улыбнулась.

Однако маменька поставила на своем, по-тому что дедушка на другой день утром, когда я с ним поздоровался, поцеловал меня и объ-явил, что я могу ехать обедать к товарищу.

Маменька, вообще мало занимавшаяся мной, перед отъездом сама одевала меня с ве-личайшею заботливостью, входила в мель-чайшие подробности моего туалета: завива-ла, помадила и расчесывала мне волосы и да-же дала мне свой батистовый платок и наду-шила его своими духами, чего прежде нико-

гда не случилось.

— Смотри же, — сказала маменька, когда я был уже совсем готов, — веди себя хорошенько и будь как можно ласковее и предупредительнее со всеми.

Я поцеловал ее ручку. Она приятно улыбнулась и с некоторою гордостью осмотрела меня с ног до головы.

Колинькина маменька жила, сколько я припоминаю, что называется, на барскую ногу: ковры, бронзы, ряд комнат, люди в ливреях и проч.

Коля встретил меня радушно и повел к ней. Она, в изысканном и нарядном туалете, сидела в угольной небольшой комнате, уставленной цветами и решетками, обвитыми плющом. Окруженная плющом, на возвышении, в больших готических креслах с резной спинкой, она имела недоступность и торжественность, от которых у меня сжалось сердце. Одна ее рука, вся в кольцах, шевелила листами какой-то книжки в раззолоченном переплете, которая лежала перед нею на маленьком столике.

Коля подвел меня к возвышению и пред-

ставил ей.

Она приподняла голову, взглянула на меня, обнаружив на лице движение вроде улыбки, и произнесла по-французски:

— Мой сын мне говорил об вас...

Потом обратилась к Коле:

— Поди сюда, Коля! Коля подошел к ней.

Она посмотрела на сына в лорнет.

— У тебя волосы дурно лежат, мой друг!

И с этими словами она пригладила ему височки и в то же время шепнула что-то.

Коля сошел с возвышения и сел возле меня.

Наступила минута молчания, после которой она повела на меня глазами и спросила:

— Ваши родители живут здесь, в Петербурге?

— Здесь-с.

— А!..

После этого "а!" опять последовало молчание, скоро, впрочем, прерванное приходом какого-то адъютанта, который только и делал потом, что побрякивал шпорами, крутил усы и смотрел, щуря глаза, в висевшее против него зеркало. По-видимому, это был родствен-

ник или очень близкий человек в доме. Колинъкина маменька звала его Пьером.

— Какая это у вас книга? — спросил ее адъютант, входя на возвышение и садясь против нее.

— Это? (разговор был на французском языке). Что за вопрос? Разве вы не знаете, что это книжка, с которой я никогда не расстаюсь; это мой милый Ламартин. Это поэт, каких немного! У него все — гармония стиха, нравственные мысли, и к тому же, читая его, чувствуешь, *que c'est un gentilhomme!*

— Это правда, — заметил адъютант, крутя усы.

— Ну, а что ваш французский учитель говорит вам о Ламартине?

Она взглянула на сына.

— Да-с, он упоминает и о нем, — отвечал Коля, — но у нас больше говорится в истории литературы о Корнеле и Расине.

— О Корнеле? да, это прекрасно! По моему мнению, молодые люди должны быть воспитаны непременно на Корнеле и на Ламартине: Корнель внушает высокие понятия о чести, а Ламартин — религию... Не спа, Пьер?

Пьер кивнул головой в знак согласия.

Я очень внимательно и с большим любопытством смотрел на Колинъкину маменьку, и она так сильно врезалась в моей памяти, как будто теперь передо мною, хотя я видел ее потом не более трех или четырех раз.

Ей было лет сорок; она была высока и стройна. Черты лица ее были некрупны и тонки: небольшой орлиный нос, серенькие глазки, брови несколько дугой. Она — я сообщаю это теперь по воспоминаниям — должна была смолоду производить большие победы, и ей, видно, нелегко было расставаться с молодостью, потому что следы разрушающего времени она тщательно и очень искусно замазывала, закрашивала и затирала, подцвечая себя всевозможными косметическими средствами. Об этом сообщил нам Коля, который иногда в сердцах на маменьку за отказы в деньгах очень метко подтрунивал над нею. Коля вообще не отличался скромностью. Чуть не всему пансиону было известно, что его маменька сидит всякий день по три часа за туалетом и, кроме своих нарядов, ничем не занимается. Перечисляя насмешливо ее наряды,

Коля в то же время имел и другую цель: прихвастнуть богатством маменьки и ее роскошью.

Смотря на эту барыню, разговаривавшую с адъютантом (я это живо помню), меня поразила, между прочим, ее странная и ненатуральная манера говорить и какое-то неловкое и принужденное выражение ее лица во время разговора. Причину этого мне объяснил князь Броницын, который, несмотря на ее особенное внимание к нему, отлично ее передразнивал: у г-жи Летищевой верхний ряд зубов совсем сгнил и искрошился, и, чтобы не обнаружить этого, она, во время разговора, постоянно держала верхнюю губу неподвижной, шевеля только нижней.

В то время, как речь от Корнеля и Ламартина круто повернула к городским новостям и сплетням, в соседней комнате послышались чьи-то шаги. Коля заглянул в дверь.

— Вот и Броницын! — сказал он, взглянув на меня, и потом, обратясь к матери, вскочил со стула.

— Матан, князь приехал.

— Аа! — произнесла она, слегка пошевелив

головой. — Его товарищ, князь Броницын, — заметила она, обратясь к адъютанту, который загнул голову назад, чтобы посмотреть на вошедшего.

Броницын был недурен собой, очень развязен и так же, как и Коля, корчил уже молодого человека совершенных лет. Сравнительно с ними я чувствовал себя ребенком, стыдился этого и завидовал им.

Г-жа Летищева пожала Броницыну руку, с большою приятностью улыбнулась ему, спросила его о здоровье князя, его отца, княгини-матери, все время обнаруживала к нему исключительное внимание и за обедом посадила возле себя.

Разговор казался очень одушевленным. Более всех говорила сама хозяйка. Я слушал внимательно; но из всего, что говорили, осталось у меня в памяти только пять слов: князь, бал, граф, графиня, княгиня.

Я во все время чувствовал страшное стеснение и неловкость; два раза зацепился за ковер и чуть не упал; отвечал на вопросы невпопад, боясь сделать ошибку пофранцузски, и внутренне завидовал развязности и смелости

князя Броницына, который так и заливался на французском языке.

Вскоре после обеда хозяйка дома исчезла и явилась только к семи часам, в другом туалете, еще более блистательном, с прибавлением новых пуколек, брошек, кружевцов и браслет и распространяя на несколько шагов кругом себя благоухание лесной фиалки.

— Я еду в театр, — сказала она, натягивая перчатку. — Je vous laisse, mes enfants, amusez-vous bien...

— Какой у вас прекрасный туалет! — перебил Броницын, глядя на нее, — и как он идет к вам!

Она улыбнулась приятно, несколько прищурилась глазами. Броницын поцеловал ее руку и, как мне показалось, что-то шепнул ей. Она прикоснулась осторожно двумя пальчиками к его уху, произнесла вопросительным тоном "Paul?" еще раз и еще приятнее улыбнулась ему и потом погрозила пальцем.

Адъютант между тем смотрелся в зеркало и поправлял свои волосы. Школьник совершенно затмил в этот день адъютанта своею любезностью и ловкостью, так что он только

время от времени поглядывал на него иронически, покручивая усы. В нашем мнении Броницын возвысился после этого еще более.

— Господа! ну, теперь ко мне! — закричал Коля, подпрыгнув, когда маменька уехала.

Кроме Броницына и меня, у Коли обедали еще два или три наших товарища из старших классов.

Мы все побежали в Колину комнату, и Броницын впереди всех, напевая:

*Amis, il est une coquette  
Dont je redoute ici les yeux,  
Que sa vanite qui me guette,  
Me trouve toujours plus joyeux.*

Коля закричал:

— Вина!

Человек принес нам бутылку мускат-люне-ля и бисквиты, и школьная попойка началась. У меня от одной рюмки закружилась голова; но товарищи мои, которые пили очень усердно и потребовали другую бутылку, стали смеяться надо мной, когда я отказался от второй рюмки, и принудили меня пить, щеголяя друг перед другом, кто кого перепьет.

— Господа! — сказал Броницын, поднимая

свою рюмку, — за здоровье военных!

— Bravo! ура! — закричали все, и я вслед за другими.

— А знаете ли, что я скоро расстанусь с вами, любезные друзья? — продолжал Броничын, — я перехожу в школу, в кавалергарды. Стоит ли у нас кончать курс, и для чего? Я ни за что не хочу быть рябчиком...

— Я тоже, я тоже! — крикнул Коля, — ни за что! Я не расстанусь с тобой, Paul: мы вместе выйдем. К тому же и татан непременно хочет, чтобы я вступил в кавалергарды. Я прослужу несколько времени в полку, а потом мой дядя граф Каленский возьмет меня в адъютанты. Он уже обещал татан... Господа! я вам предлагаю тост за кавалергардов!

— Tres-bien, bravo! — воскликнул Броничын.

И все мы снова и сильнее прежнего стали кричать: "Bravo! ура!.." и топтать ногами.

Товарищи мои долго продолжали еще шуметь, петь, кричать, болтать о лошадях, о военных формах и еще о чем-то. Все это мне представлялось неясно. Я сидел молча.

У меня в глазах было мутно и голова кру-

жила. Я чувствовал, что не могу стоять твердо на ногах, что не могу сделать двух шагов не пошатнувшись... Обводя кругом комнату, я остановился на часах, висевших на стене: нам оставался только один час до пансиона. Две мысли: "что, если бы меня увидал в таком виде дедушка?" и "как я явлюсь к директору?" — привели меня в ужас. Сердце мое сильно забилося при этом; я вскочил со стула, попробовал пройтись, чтобы удостовериться, могу ли я ходить, сделал два шага, но меня откинуло в сторону к дивану, голова закружилась еще сильнее, и я незаметно упал на диван, вдруг потеряв всякое сознание.

Я очнулся от неприятного ощущения холода и дрожи, почувствовал, что по лицу моему течет что-то... и открыл глаза. Товарищи, чтобы привести меня в чувство, смеясь, обливали мне голову холодной водой...

Как мы отправились потом в пансион, как представились директору — этого я не помню; но как никто из нас не был наказан, из этого я заключаю, что мы явились довольно в приличном виде. Я один только на другой день заплатил дань этой первой попойке, за-

немог и отправился в больницу.

Летищев и князь Броницын, действительно, через полгода вышли из пансиона. После этого я видел Летищева всего раза четыре. Он приходил к нам в пансион, раз вместе с князем, а потом один, в мундире, в каске, звеня шпорами и гремя палашом, — явно только для того, чтобы щегольнуть собой перед старыми товарищами. Мы все с любопытством и участием окружали его... Коля немного важничал и ломался перед нами, рассказывая нам, что его дядя дарит ему лошадь в шесть тысяч (тогда еще считали на ассигнации), что мать дает ему двадцать тысяч на первое обзаведение, что лошадь его будет одна из первых в полку и что даже у князя Броницына не будет такой лошади.

Мы слушали его разиня рты и любовались им, потому что румяный, плечистый и толстый Коля был действительно как будто создан для того, чтобы быть кирасиром.

Прошел еще год. Летищев не показывался. Он, вероятно, забыл о нас. Мы забыли о нем. Наступил день нашего выпуска, торжественный день в жизни каждого из нас. Мы

проснулись рано, потому что волнение не давало нам спать. Солнце ярко сияло; из открытых окон нашего класса, куда мы собрались в последний раз, несло благоухание от инспекторских левкоев и резеды вместе с свежим утренним воздухом; голуби — охота одного из наших гувернеров, расхаживавшие по двору, ворковали звучнее обыкновенного; четыре липки, торчавшие перед окнами в садике, на которые мы никогда не обращали внимания, ярко и весело зеленели, облитые солнцем; все начальники смотрели на нас с особенно приветливым выражением в лице; товарищи, остававшиеся в пансионе, окружали нас с завистливым любопытством и повторяли нам: "Счастливые!" Сторож, которого мы обыкновенно посылали украдкой за завтраком в мелочную лавку, при встрече поклонился нам с таким уважением, как он кланялся только инспектору или директору, и потом все поглядывал на нас с заискивающей улыбкою, как бы ожидая чего-то. За утренним чаем мы не прикасались ни к чему, отдали свой чай и булки товарищам и разговаривали шумно, свободно и весело, не боясь замеча-

ний и выговоров. Мысль, что через несколько часов мы будем вне этих стен, на просторе, на воле, без всякого надзора, что мы пойдем куда угодно, будем делать все, что нам вздумается, что впереди перед нами театры, гулянья, всевозможные увеселения, погружала нас в упительное одурение... Все перед нами казалось широко, светло и бесконечно. Сердца наши бились сильно, глаза сверкали счастьем, грудь, переполненная ощущениями, волновалась. Двери парадного подъезда отворены были настежь, у подъезда стояли наши экипажи, на лестнице толпились ожидавшие нас люди.

— Господа! — закричал один из нас, — мы теперь свободные люди! Ура!.. Делай, что хочешь!

Он схватил первую попавшуюся ему под руку учебную книжку, разорвал ее пополам и бросил, потом схватил со стола чугунную чернильницу и с каким-то ожесточением швырнул ее в клумбу с инспекторскими цветами.

— Ура! — раздалось вслед за ним, и чернильницы одна за другой полетели за окна, на цветы.

— Теперь долой эти платья! — кричал другой, — прочь эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..

И он разрывал пополам свой сюртук при всеобщих рукоплесканиях и криках.

После первой минуты этих буйств и разрушения, этого опьянения радости, осмотрясь кругом, мы увидели Скулякова. Он сидел у стола, облокотясь на руку. Лицо его, и без того всегда бледное, имело в эту минуту какой-то зеленоватый, болезненный оттенок, а его косые глаза неопределенно и грустно смотрели куда-то. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, что делалось кругом него.

— Что ж ты сидишь? — сказал ему кто-то из нас, — вставай, братец: пора одеваться.

— Зачем? — проговорил он мрачно и вполголоса.

— Как зачем? — закричало несколько голосов, — отправляться по домам.

— У меня нет дома, — отвечал он, махнув рукой, — с богом отправляйтесь себе; мне некуда.

Шумная ватага разбежалась. Я остался с ним один; мне стало жаль его. Я знал, что Скуляков беден, что у него не было никого,

кроме старухи-матери, которая жила далеко от Петербурга в своей деревеньке; что в Петербурге у него был только один знакомый, к которому он ходил по праздникам, и то изредка.

— Отчего же ты не пойдешь к своему знакомому? — спросил я. — Разве ты не можешь прожить у него до тех пор, покуда пришлют за тобой из деревни?

— Он уехал из Петербурга, — отвечал Скуляков, видимо недовольный моими вопросами.

— Послушай, Скуляков, — сказал я, — я прошу тебя, сделай одолжение, поедем ко мне. Все наши будут тебе рады... Все-таки до отъезда в деревню тебе лучше и веселее будет прожить у нас, чем оставаться здесь одному в пансионе.

И я с горячностью протянул ему руку. Скуляков пожал ее и взглянул на меня.

— Нет, спасибо, — отвечал он, — я не хочу быть никому в тягость... я не могу, брат...

Я не совсем тогда хорошо понимал значение слов: "быть в тягость", и деликатность натуры этого человека, которого звали костоло-

мом, казалась мне только упрямством. Я стал еще сильнее уговаривать его.

— Нет, уж ты лучше и не говори, — перебил он меня, — я не поеду; я уж сказал, я останусь... Спасибо тебе. Прощай! Будь счастлив...

В его голосе, обыкновенно грубом, было в эту минуту столько мягкости и задушевности, что я не мог удержаться от слез. Мне вдруг в первый раз стало совестно, что я во все время вместе с другими товарищами, и может быть более других, приставал к нему и смеялся над ним.

— Прости меня за прошлое, — сказал я, — я виноват перед тобою.

Скуляков вдруг соскочил со скамейки, остановился на минуту в недоумении, как бы желая сказать мне что-то, — и вдруг бросился ко мне на шею, обнял меня еще раз и еще крепче пожал мне руку и прошептал:

— Ну, прощай, прощай, братец!

Выходя из класса, я обернулся назад. Скуляков закрыл лицо руками и прислонился к краю стола. Мне показалось, что он плакал...

Но через десять минут, на дороге из пансиона домой, я забыл о Скулякове и о всем на

свете. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладело мною; мне казалось, что горе, несчастье и прочее — все это людские выдумки и что жизнь — вечный праздник.

Я не предчувствовал, что готовилось для меня впереди, и едва удерживал мое нетерпение, завидев нашу дачу, наш старый дом, окруженный столетними деревьями... я был уверен, что скорее лошадей добегу до крыльца, и мне хотелось выскочить из коляски, чтобы броситься на шею к дедушке... Когда коляска остановилась, я едва мог дышать от волнения. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничные в ожидании меня — все, кроме моей няни, которой уже не было на свете, и дедушки.

— Где же дедушка? — было первое мое слово.

— Дедушка нездоров. Тише: он поживает, — отвечали мне.

Эти слова болезненно отозвались у меня в сердце, и я вошел в дом на цыпочках, понуря голову. Через час меня позвали к дедушке. Он улыбнулся мне, пожал мне руку своей осла-

бевшей рукой и произнес с усилием:

— Ну, поздравляю тебя, поздравляю...

Он велел мне сесть к себе на постель и стал смотреть на меня, держа меня за руку, с такою любовью и с такою грустью, что я зарыдал...

— Полно, голубчик! Бог даст, я еще поправлюсь. Не плачь, дружок! — шептал мне дедушка, сам глотая слезы.

Но сердце мое говорило мне, что все кончено. Я вышел от дедушки и упал на диван, захлебываясь слезами.

К вечеру дедушке сделалось хуже, вероятно, от волнения; а через два дня после этого он лежал на столе. Он как будто заснул на минуту: так лицо его было спокойно и светло; ни одна черта его не была искажена страданием, и на губах его замерла улыбка — та симпатическая улыбка, с которою он всегда встречал меня...

Неужели это смерть?..

Я стоял, пораженный этим явлением, не спуская глаз с усопшего. Мне казалось невозможным, что я уже никогда не увижу его кроткого взгляда, никогда не услышу его го-

лоса, звучавшего любовью... Смерть! когда все кругом меня кипело жизнью, светом, радостью...

Окна комнаты, в которой дедушка был положен, выходили в сад... Солнце бросало на все ослепительный блеск, совсем поглощая свет погребальных свеч. Ветка шиповника в полном цвету врывалась в одно из окон, и однообразный, тихий голос чтеца заглушался звонким пением, свистом и чиликанием птиц.

## II. Молодость

Прошел год. Я уже привык к моей свободе. Она мне даже надоела немножко, потому что я не находил, какое употребление сделать из нее. Летищева, который уже был офицером, я видал довольно часто на Невском: то в коляске, то в дрожках на рысаках, то верхом, то на тротуаре под руку с другими офицерами. Он холодно кивал мне головою при встречах; я ему отвечал тем же. Мы нигде не сходились. Я услышал стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся после нее движимое и недвижимое имение отдано было за

долг и что граф Каленский хотя был довольно внимателен к нему, но денег не давал. Несмотря на это, Летищев, служивший в самом дорогом полку, жил не хуже своих товарищей, которые получали большие деньги и имели в виду огромные состояния. Говорили, будто он поддерживает такое блестящее существование одними займами, распуская слухи, что он единственный наследник графа, и занимает 50 на 100, а иногда и капитал на капитал. До какой степени слухи эти были основательны, я не знал. Несомненно было только то, что Летищев проживает много, что он цветет, толстеет, сияет самодовольствием и отличается полною беспечностью.

В одно из представлений балета «Киа-Кинг» во время антракта, когда все поднялись, чья-то рука из первого ряда кресел упала на мое плечо — я сидел во втором — и знакомый звонкий, несколько пронзительный голос произнес скороговоркою:

— Здравствуй, mon cher! как я рад тебя видеть! сколько времени мы не видались!.. Где ты пропадаешь?

Это был Летищев. Я молча поклонился

ему; он схватил меня за руку и крепко пожал ее.

— Да что ты, не узнаешь меня, что ли?

— Нет, узнаю, — отвечал я.

— А разве так встречаются старые товарищи? Я тебя всегда очень любил и очень, очень рад тебя видеть.

Такую внезапную горячность ко мне Летищева я не мог разгадать вдруг.

— Пойдем в буфет, — продолжал он, — мне хочется и покурить и поговорить с тобою... А ты ничего не меняешься: точно как был в пансионе.

Мы пришли в буфет.

— Ну, несравненная madame Пиацци! — сказал он, обращаясь к черноглазой и черноволосой даме, стоявшей за буфетом, — велите-ка нам подать бутылку клико, да похолоднее, и мою трубку с янтарем (тогда еще папиросы не были в употреблении) в маленькую комнату... знаете? Это мой друг, — прибавил он, указывая на хозяйку буфета, — у меня, братец, везде друзья... Это необходимо, без этого нельзя... Скорее вина...

— Да к чему? — начал было я.

— Нет, нет! ты мне уж этого и не говори, — перебил Летищев громко, обращаясь то ко мне, то к мадам Пиацци, — мы должны выпить. Встреча с тобою мне так приятна. А знаешь и, сколько мы выпили вчера с Федей Рагузинским и Броницы-ным (ты ведь его помнишь)? Ну, как ты думаешь?

— Я не знаю.

— Девять бутылок!.. по три на брата. Не глупо?

М-ме Пиацци с приятностью улыбалась, слушая Летищева, и покачивала головой.

Когда в отдельную комнату мальчик принес трубки и шампанское, Летищев крикнул ему: "Ну, косой, откупори, да без шума, и убирайся вон!" — и потом обратился ко мне, потрепав меня по плечу, и сказал:

— Сколько с того времени, mon cher, воды утекло, как мы расстались!.. Ты знаешь, что мать моя умерла... Я теперь один, вольный казак, проживаю тридцать тысяч; у меня лучшая лошадь в полку, десятитысячный жеребец... Но это все вздор!

Ты знаешь, что я сделался театралом с ног до головы, вся моя жизнь здесь, на Большом

театре; я не пропускаю ни одного балета. Знаешь ли, сколько раз я видел "Бронзового Князя"? — 54 раза! а послезавтра 55-е представление... Общество театралов недавно поднесло мне похвальный лист, за подписью всех своих членов, и во главе всех подписей имя нашего doyen d'age между театралами — князя Арбатова... Какой чудный человек! Что за душа! Ты не знаешь его? тебе, mon cher, непременно надо сделаться театралом... и все наши... ведь это удивительные ребята!.. Если бы ты посмотрел наши сходки: чудо!.. Мы преследуем, братец, и презираем всех этих светских франтиков, паркетных шаркунов... Из нас никто ни ногой в свет, хотя мы все имеем на это полное право... Свет, эти все дамы косятся на нас, да черт с ними!.. Что, например, выше наслаждения провожать театральные линии, видеть в окно прелестное личико с платком на голове, которое высунулось для того, чтобы взглянуть на тебя... понимаешь? Ты перекидываешься с нею несколькими словами, рискуя попасть под огромное колесище и быть расплющенным... Впрочем, у меня кучер так наловчился подъезжать близко к ли-

нии, что полоз моих саней совсем сходится вплоть с обручем колеса... и ничего, видишь, я до сих пор жив и здоров... Один раз я чуть не попал, однако, под колесо; но зато чем же я и был вознагражден за это!.. Из окна раздался голосок:

"Вас задавят... ах, страсти!" И она упала, братец, в обморок: ее без чувств привезли домой. Она любит меня до безумия; а я... я уж и говорить нечего... я с ума схожу... такой девочки нет на свете другой... Что за глаза, что за бюст, какая ножка!.. Царица между всеми... И посмотри, какая у нас идет перестрелка во время представления, заметь... Все говорят, что она первая, и точно... Какой талант!.. Не правда ли?..

— Да я не знаю, о ком ты говоришь, — возразил я.

— Как? Неужели? — Летищев посмотрел на меня с удивлением и недоверчивостью. — Будто ты ничего не слыхал? Ты не знаешь, за кем я ухаживаю? Да об этом кричит весь город... И черт знает, как все это узнают, я не понимаю! Дамы в обществе об этом толкуют — ведь вот до чего дошло — ей-богу!.. Мне

это ужасно неприятно: дядя на меня злится... ну, да пусть его злится... Если ты хоть раз был в балете, хоть один раз в жизни, ты должен знать Торкачеву...

— Понятия не имею, — отвечал я.

Хотя Торкачева была одна из самых хорошеньких молодых танцовщиц того времени, но мой глаз не был так опытен, чтобы отличать Торкачеву от Пряхиной, Белоусову от Каростицкой и т. д.

— Что? — с ужасом воскликнул Летищев. — Ты не знаешь Торкачевой? Ах ты, варвар!.. Послушай, ты лучше не признавайся в этом: это нехорошо, просто стыдно.

Не знать Торкачевой!.. *mais, mon cher, c'est impardonnable, c'est un crime...*

Четвертая корифейка с края с правой стороны... среднего роста, с такими огненными бирюзовыми глазками...

— А! так это она?..

— Она! она! — вскрикнул Летищев, — да вот смотри!..

Он расстегнул мундир, потом рубашку, вытащил золотой медальон, висевший на тоненькой цепочке на его груди, открыл его и

показал мне ее портрет. — Не правда ли, прелесть? Не правда ли, от такой девочки простительно с ума сойти?..

Ведь это, братец, счастье быть ею любимым?

И он с жаром поцеловал портрет, спрятал его, застегнулся, взял стакан и прибавил:

— Ну, теперь выпьем же за ее здоровье, за здоровье моей чудной Кати! только смотри, до капли...

Мы выпили.

— Я ее так устрою, — продолжал Летищев, — чтобы все ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не пожалею для нее, ухну все, что имею... черт возьми! А там... ведь дядя же мой не будет жить вечно... тогда мне уж горевать будет не о чем: двести тысяч дохода, un revenu net... ведь изрядно?..

Летищев должен был знать, что у графа Каленского есть ближайшие родственники; что имение графа по прямой линии перейдет к ним; что ему достанется что-нибудь, и то неверно; но он до того нахвастался всем, что он его единственный наследник, что наконец почти сам стал верить этому.

Когда Летищев высказал мне все, что ему хотелось высказать, он вдруг несколько охладил ко мне.

— Однако пора; заболтался. Беда, если я пропущу ее выход: мне за это достанется... Пойдем... М-ме Пиацци! запишите за мной бутылку... Заметь же... ты сидишь, кажется, сзади меня... какая пойдет перестрелка!.. Смотри, ты поусердней и погромче хлопай нашим-то, по старому товариществу.

Лишь только Торкачева с компанией появились на сцене, Летищев обратился ко мне и показал мне ее.

— Ну, что, какова? не правда ли, чудо? Bravo! bravo! — закричал он, отвернувшись от меня и захлопав.

Затем весь первый ряд правой стороны начал кричать вполголоса: "Браво! браво!", усиливая это браво постепенно и доведя его наконец до неистовых криков с громовым аккомпанементом рукоплесканий; после криков и хлопаний все эти господа впились в свои бинокли, и я заметил, что между Торкачевой и Летищевым точно существовали какие-то телеграфические знаки и что после

каждого пируэта она обращалась с особенно значительной улыбкой к тому креслу, на котором сидел он.

Когда Торкачева с компанией скрылись за кулисами, Летищев опять обратился ко мне.

— Перестрелку-то заметил? Вот теперь появится Иванова — так уж ей надо хорошенько шикнуть: это наш смертельный враг...

— Отчего? — спросил я, — она славная танцовщица.

— Какое! дрянь!.. да все равно, хотя бы она была первый гений: уж ей, понашему, следует шикать...

И точно, при появлении Ивановой в первых рядах раздалось шиканье. Это шиканье произвело в публике неудовольствие, обнаружившееся громом рукоплесканий. Как люди в своем деле опытные, театралы смирились перед бурей; когда же буря начала стихать, они воспользовались первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова их шиканья были заглушены еще сильнеешим громом и сопровождались вызовом ненавистной им танцовщицы.

Несмотря на это, они выходили из театра

очень довольные, с полной уверенностью, что уничтожили ее; а князь Арбатов, пропуская их мимо себя, повторял каждому:

"Славно, ребята!" — и каждый отвечал на лестное одобрение: "Рады стараться, ваше сиятельство!" У театралов, как я узнал впоследствии, были очень усердные помощники, исправлявшие должность театралов из различных побуждений и рассаженные в разных концах и углах зала. Они состояли, первое, из господ, надсаживавших горло и отбивавших руки из того только, чтобы иметь честь попасть в кружок театралов, потереться около аристократов; второе — из нахлебников этой молодежи, их прихлебателей, и третье — просто из наемных хлопальщиков и шикальщиков, которые, когда театрал, их патрон, проходил мимо их, обыкновенно выставляли вперед свои подобострастные фигуры и шептали с почтительною улыбкою: "Ну, уж мы сегодня похлопали, ваше сиятельство! во втором-то акте какой залп задали!" Все театралы и исправлявшие должность театралов того времени, которое я описываю, были под командой князя Арбатова.

Князь Арбатов пользовался значительною известностью в Петербурге, и те немногие, которые не были с ним знакомы, наверно знали о нем хоть понаслышке. Я принадлежал к последним. Еще когда я был школьником, мне указали на него однажды в балете. Князю казалось на вид лет сорок с лишком. Он был мужчина довольно видный, полный, высокого роста, с круглым лицом, нижняя часть которого выдавалась вперед, с большими карирами глазами, с маленьким лбом, с редкими подкрашенными волосами и с короткими щетинистыми усами, также подкрашенными.

Туалет его не отличался изысканностью: сюртук был почти всегда застегнут на все пуговицы, галстук высокий, на пряжке сзади, с торчащими из-под него маленькими воротничками от рубашки. По всему было заметно, что с статским платьем ему свыкнуться было нелегко, что оно было для него ново и что он презирал его. Плечи князя, гордо вздернутые кверху, привыкшие к большим и густым эполетам, беспрестанно приподнимались и вздрагивали. Князь был в театрах, как у себя дома: все театральные власти были его дру-

зьями и приятелями; все сильфиды, амуры и грации считали его за родного; бутафоры и ламповщики глядели на него с чувством; капельдинеры встречали его при входе с особенною торжественностью и почтительно отворяли перед ним двери храма искусства, в который он вступал повелителем, раздавателем сценической славы, непогрешительным судьей — протектором или карателем, перед глазами которого прошли десять поколений самой богатой и блестящей молодежи, по одному его мановению рукоплескавшей и шикавшей, — десять поколений, им взлелеянных и воспитанных.

Его давно уже нет на свете, этого почтенного мужа: но до тех пор, покуда будут существовать театралы, имя его, вероятно, будет благоговейно произноситься ими, начертанное неизгладимыми буквами в их летописях, и предпоследнее поколение, имевшее счастье еще застать его, может произнести о нем, как Пушкин о Державине:

*Старик Арбатов нас заметил  
И, в гроб сходя, благословил!*

Старик! Но Арбатов никогда не был стариком: в шестьдесят с лишком лет он сошел в могилу таким, каким был в девятнадцать. Он был верен себе до последней минуты и вечно юн, несмотря на свои морщины, редкие подкрашенные волосы и вставные зубы.

Время действовало несколько тлетворно на его внешность, не изменяя ни в чем его внутренних убеждений, взглядов и понятий и нимало не охлаждая его пламенной любви к театру вообще и балетному искусству в особенности. За два дня перед смертью, в представлении "Катарины — дочери разбойника", нежное и любящее сердце его так же горячо и сильно билось при виде порхающих красавиц-внучек, как оно билось при появлении порхавших некогда красавиц — их бабушек в "Коро и Алонзо", "Деве Солнца" или в "Пажах герцога Вандомского". Бабушкам и внучкам он рукоплескал с равным энтузиазмом и так же верно знал именины и рождения бабушек, как именины и рождения внучек, с одинаково теплым чувством поздравляя тех и других.

Летищев, который после представления «Киа-Кинга» стал заезжать ко мне изредка,

рассказывал мне об Арбатове с увлечением и посвятил меня во все подробности театрального искусства.

— Такой любви к искусству, — говорил он, — такого благородного жара ты не встретишь ни в ком. Поверишь ли, что в каждом из нас князь принимает такое горячее участие, как в самых близких родных. Да что ему родные! Весь мир его заключается в нас и в девицах. Он их и нас любит, как отец. Когда князь Броницын завел стрельбу с Пряжиной, он сейчас же сообщил об этом Арбатову... Мы ничего от него не скрываем: все малейшие движения наши известны ему: "Я не знаю, чего бы я не дал, — сказал ему Броницын, — если бы я где-нибудь мог с нею видаться!" Тогда Броницын только что вышел из школы... Это было в первые месяцы нашего театрального искусства... Мы тогда еще не знали, как приступить к делу, ходили как впотьмах.

Арбатов только что принял нас под свое покровительство, и мы еще не были совершенно посвящены во все тайны театрального искусства; еще старые театралы смотрели на нас, как на мальчишек... Мы трепетали перед Ар-

батовым, как перед авторитетом.

Что же ты думаешь? этого я никогда не забуду, это было при мне: Арбатов крепко пожал ему руку и пристально взглянул на него испытующим взглядом. "Вы ее очень любите, князь?" — спросил он его. "До безумия", — отвечал Броницын. Арбатов задумался на минуту. "Знаете ли, — возразил он — и надобно было видеть в эту минуту серьезное, даже несколько строгое выражение лица его, — знаете ли, что это девочка необыкновенная... кроткая, скромная, милая... Выбор ваш делает вам честь; но послушайте, князь, вы должны оценить ее вполне и сделать счастливой..." — "Я вам отвечаю за это", — перебил с горячностью Броницын. "И я вам от души верю, князь! Уже одно ваше имя служит мне ручательством за то, что вы дорожите вашим словом. К сожалению, — и Арбатов вздохнул, — я обманулся во многих в течение моего театрального поприща; многие, говорит, из театралов бросили тень на это имя, которым мы должны все дорожить, которое должны носить с гордостью". Мы были все почти до слез тронуты этими словами и поклялись в чисто-

те сохранять почетное имя театрала. Арбатов расцеловал нас и сказал: "На днях мы окончательно посвятим вас, и тогда (он обратился к Броницыну) я займусь вашим делом... *soyez tranquille*... мы все устроим: я переговорю сначала с нею, а потом с ее матерью серьезно".

Если кому-нибудь из нас девица не отвечала, Арбатов был просто в отчаянии; он начинал ее усовещевать, уговаривать, выставлять перед нею достоинства ее обожателя. "Поймите вы свою пользу, — говорил он ей, — я для вас же хлопочу, вас же хочу устроить. Поверьте мне, вы созданы друг для друга", — и достигал своей цели. Девицы всегда хороши с теми, с кем он хорош. Надобно видеть, братец, когда он между ними; все при его появлении одушевляются, и большие и маленькие, и корифейки, и танцовщицы, и те даже, которые пляшут у воды, — все, подпрыгивая и хлопая ручонками, глядя на него, кричат: "Дядя, дядя!.." Он всех порядочных людей вербует в театралы. Чуть у кого-нибудь заметит маленькое влечение к балету — и подсядет сейчас к нему. Вот он еще недавно завербовал нам графа Красносельского, который месяц назад

брeдил светом, был самым упорным паркетным шаркуном. Арбатов подсел к нему раз в балете и говорит: "Смотрите-ка, как Белокопытова-то стреляет в вас. Она только вами и бредит. Она недавно сказала мне: "Я бы, кажется, с ума сошла, если бы граф отвечал мне". Бедная девочка! мне жаль ее. А какое у нее сердце, если бы вы знали! и ведь красавица! Сколько за ней ухаживали, а она никому еще не отвечала до сих пор. Вы первые тронули ее...

Vous ferez une bonne action, если обратите внимание на эту девочку, и скажете мне за нее потом спасибо". Эти слова подействовали на самолюбие графа Красносельского: мало-помалу он начал увлекаться, завел с нею телеграфические знаки; ну, а потом и пошло, и пошло, и в один месяц он сделался самым отчаянным театралом, совсем перестал ездить в свет, выдержал страшные истории за это дома, перессорился со всеми родными, и теперь для него ничего в мире не существует, кроме балета, а в балете — Дашеньки Белокопытовой!.. Вот каков Арбатов! Я тебе говорю, это необыкновенный, чудный человек, пер-

вый сорт! И как ненавидят его все маменьки и дяденьки! Да ему что? он гордится этою ненавистью.

Летищев открывал для меня новый мир, и я слушал его с любопытством.

— Да что, — продолжал Летищев все с большим одушевлением, — Красносельский молод; нас, у которых кровь кипит, завлечь, *mon cher*, немудрено; а он завербовал недавно в театралы семидесятилетнего старца, у которого дети уже бреют бороды лет десять или двенадцать!.. Вот какие чудеса творит Арбатов!.. У Прохоровой был вечер. Весь балет там был и все наши. Арбатов все обдумал заранее. Ему давно хотелось устроить Капылову. Она уж не первой молодости и собой-то не очень; но тело у нее чудесное и сложено отлично. Она так пропадала в одиночестве и бедности, а девица славная и добрая; все наши ее ужасно любят: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и Каростицкая, — все, все... Арбатов давно ей говорил:

"Дайте мне срок, несравненная моя Наталья Ивановна, — и, знаешь, рукой ее этак по талии, — уж я пристрою вас, матушка, будьте

покойны"; да и намекнул ей на старичка, а старичок богат и скуп, как черт... "Это, говорит, ничего, мы сумеем порастрясти его карманы". Он и привез его на вечер к Прохоровой. Капылова разоделась в пух и прах и давай стрелять в старичка; а Арбатов толкает его и говорит: "Смотрите, смотрите, Петр Иванович, глаз с вас не спускает: победа, да еще какая! Поздравляю вас, искренно поздравляю! Первая по сложению в балете".

Старичок поднес, дрожа, лорнет к глазам и начал смотреть на нее. Глядь, через час уж он танцует с нею мазурку, со всеми старинными затеями: с припрыжкой, с усами; вертит ее, становится перед ней на колени... просто умора. Мы надрывались со смеху. С тех пор, братец, не пропускает ни одного балета, сошелся со всеми нами на ты, туда же телеграфические знаки делает, несмотря на то, что руки дрожат и все в морщинах, точно сплоены; в венгерке ездит верхом мимо ее окон, пудами посылает ей конфеты и, в довершение всего, сочиняет к ней стихи. Я помню первые три стишка:

*На Арарат Наташу я поставлю*

*И весь мир думать заставлю:  
Вот та, которую люблю!*

Дальше не помню, а недурно! Он мерзнет с нами у театрального подъезда, пьет с нами. Надобно было видеть, когда его посвящали в театралы, когда его в первый раз привезли на нашу главную квартиру. Арбатов ввел его с особенною торжественностью, в сопровождении всех нас, в ту комнату, где хранятся все наши атрибуты. У нас, братец, все это устроено чудо как! В эту комнату никто не входит, кроме посвященных или посвящаемых. Там, на возвышении, лежит шлем из "Восстания в Серале" и башмак Тальони, который был на ее ноге в первое представление, когда она танцевала на петербургской сцене. На столе перед возвышением ряд башмаков всех известных наших танцовщиц, книга с нашими постановлениями, в великолепном переплете, и другая книга, в которой внесены именины и рождения всех танцовщиц, имена всех бывших и настоящих театралов и все важные события, случившиеся в различные периоды театральства; по сторонам две доски на треножнике: одна — красная, на которой записа-

ны имена всех наших, тех, которые отвечают нам; другая — черная, и на ней имена наших врагов, тех, которым мы шикаем. Старика подвели к возвышению, надели ему на голову шлем, заставили поцеловать башмак Тальони. Он поклялся быть неизменно верным всем правилам театральства, никогда не нарушать их, во всем помогать товарищам и проч., и, когда он говорил это, голос его дрожал и на глазах его показались слезы. Броницын, глядя на него, язвительно улыбался, подтрунивал над ним и называл его шутком. У Броницына, между нами, нет сердца. Я с ним чуть не поругался за это. На меня эта сцена подействовала совсем иначе: меня это тронуло. Поверишь ли, я полюбил после этого старика. Теперь его и узнать нельзя: он так изменился — о скупости и помину нет, он ведет себя молодцом, так держит себя, что чудо, и на счет подарков никому, братец, из нас не уступает. Сначала, покуда он ограничивался стишками и конфетами, все театральные подшучивали над Капыловой. "Славного, Наталья Ивановна, — говорили они ей, — подтибрили вы себе обожателя!" И ей было как-

то неловко и совестно; ну, а теперь, я тебе скажу, как увидали на ней тысячный салоп, да браслеты с изумрудами и яхонтами, да ее карету, которая подкатила к подъезду после репетиции, так все прикусили язычки. И она стала смотреть не так, да и на нее стали смотреть иначе. Старик души в ней не чает. "Я, говорит, теперь только начинаю жить; я, говорит, теперь только понял, что такое любовь". Разумеется, он отчасти смешон, коли ты хочешь; но как бы то ни было, а это доказывает, что в нем есть жизнь, что в нем не совсем очерствело сердце, что он способен еще понимать изящное, и все это, однако, заметь, проблудило в нем театральство! Арбатов от него в восторге; он не нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынешней зимой устроит у нее танцевальные вечера, куда будут съезжаться все балетные и, разумеется, наши, после выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартире непременно уж раз в неделю после балета, и старичок всегда с нами: мы к нему привыкли, без него как будто чего-то недостает. На этих сходках у нас — это уж так положено — все должны только гово-

ритель о театре и о том, что касается до театра; если же кто заговорит о чем-нибудь постороннем, с того берется штраф, — и, вообрази, наш старик еще ни разу не заплатил штрафа! Он сделался одним из самых строгих блюстителей наших порядков. По-моему, так его просто нельзя не уважать!

Затем Летищев перешел к своей Кате, передавал мне слова, которые она бросала ему на лету, восторгался от ее ума, красоты, повторял, как он ее любит, и фантазировал о будущем.

Он привозил ко мне различные покупки, развертывал передо мною куски бархатов и шелковых материй, вынимал из карманов сафьянные коробки с часами, брошками и браслетами, приставая ко мне с вопросами: "Не правда ли, это хорошо?.. Не правда ли, это с большим вкусом?.. Как ты думаешь, что это стоит?.." — и прибавлял к этому, что его подарки лучше подарков Броницына и что уж у него такой характер, что он никому и ни в чем не позволит себя перещеголять.

Он объявил мне, между прочим, что Катя переезжает к своей старшей сестре; что он

для того, чтобы жить с Катей в одной улице, переменяет свою квартиру; что отыскать квартиру в ее улице стоило ему величайших усилий; что он уговорил хозяина дома выжить какого-то жильца, заплатил за три скверные комнаты, которые занимал этот жилец, тысячу пятьсот рублей вперед; что он отделявает их совершенно заново; что все это обойдется ему в двадцать тысяч; что он хочет, чтобы ни у кого из театральных не было таких платьев, шляпок, браслетов и прочего, как у его Кати. При этом он прыгал, хохотал, пел, обнимал меня, целовал и жал мне руки. После этих неистовств он стихал на минуту, прохаживался по комнате и спрашивал меня:

— Ты мне друг? скажи — друг? Ты, братец, понимаешь меня? не правда ли?

Я, по обыкновению, молча кивал головой.

— От тебя я уж не могу скрывать ничего; только, бога ради, это между нами: ты единственный человек, которому я это показываю.

И он, притворяя дверь, вынимал из кармана письма к нему Кати и читал их. (Впослед-

ствии я узнал, что вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти письма.) — Я даже еще Арбатову не показывал этого письма, — замечал он каждый раз, — даже Арбатову! понимаешь?..

В этих письмах Торкачева очень наивно и довольно безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по крайней мере мне казалось тогда, были проникнуты теплотою, обнаруживавшею сквозь безграмотные и смешные фразы неподдельное чувство.

Окончив чтение, он подносил обыкновенно эти письма к моим глазам, потом складывал их, целовал и прятал в карман.

— Это драгоценности, — говорил он, — с которыми я никогда не расстанусь. Их положат в гроб со мною. Видишь ли, как она меня любит! Не правда ли, каждое слово дышит любовью?

— Да, — возражал я, — такая любовь приятна, но разорительна.

Летищев хмурился.

— Как тебе не стыдно! — кричал он, — денежные расчеты — какая гадость! Фи!..

Я не стоил бы ее, если бы рассчитывал, как

лавочник, поэкономней да подешевле. Я не мог бы перенести, если бы она была устроена беднее Пряхиной: мне стыдно было бы тогда взглянуть в глаза Броницыну... Что делать! *Noblesse oblige, mon cher...*

Конечно, я не в состоянии бросать столько денег, сколько Броницын, тягаться за ним; но не могу же я и уступить ему. Мои дела немножко запутаются — я не скрываю этого. Мне будет немножко тяжело... Ну, а дядя-то?.. Мне верят наконец.

Я имею кредит. Да здравствует кредит! С кредитом можно жить отлично.

Положение обязывает, мой дорогой...

После таких рассуждений Летищев насвистывал обыкновенно арии из "Бронзового Коня", напевал вальсы и под свои звуки один кружился по комнате.

Он был в восторге от своей новой квартиры: окна его кабинета выходили прямо против окон комнаты его Кати. Показывая мне на эти окна, он говорил:

— Ты понимаешь, я могу теперь видеть отсюда все, что она будет делать; она может видеть все, что делается у меня. Я вооружился

телескопами, зрительными трубами...

Дней через десять после этого он заехал ко мне и говорит мне:

— Ну, братец, я плаваю в море блаженства! Я был у них. Сестра приняла меня отлично, а Катя — с каким восторгом она меня встретила, если бы ты видел! Какая перестрелка у нас пошла через улицу, часов по пяти сряду каждый день. Я подарил сестре турецкую шаль... Ах, Катя, Катя!.. Ты непременно должен видеть ее... едем ко мне...

Он привез меня к себе.

— Она не должна подозревать, — сказал он, — что у меня кто-нибудь есть: иначе все пропало, и мы ее не увидим. Становись у окна за этот занавес и смотри в щелку, вот в это пространство. Ты увидишь все, а тебя оттуда никто не увидит.

Я повиновался безмолвно, потому что мне любопытно было посмотреть на эти проделки.

Летищев отворил окно, у занавеса которого я притаился, наставил свою зрительную трубу и припал к ней глазами. День был весенний, ясный и теплый. Окно Катиной ком-

наты было уставлено цветами. Минуту спустя через зелень этих цветов протянулась ручка: ее окно также отворилось, и в этом окне, между фиолями и розами, показалась прелестная женская головка с темно-каштановыми густыми волосами, с тонкими и необыкновенно привлекательными чертами лица, с несколько приподнятым кверху носиком и с продолговатыми синими глазками. Я в первый раз видел ее так близко. Она показалась мне в эти минуты несравненно лучше, чем на сцене, несмотря на то, что лицо ее имело бледно-желтоватый колорит, что, впрочем, несколько не портило ее; румянец менее бышел к этому лицу. Когда Летищев перестал смотреть в свою трубу, она впиалась своими синими, несколько туманными глазками в лоснившееся, полное и румяное лицо моего приятеля, кивнула ему дружески головкой и вся просияла улыбкой любви, доверия и счастья. Затем между ними начались какие-то непонятные для меня переговоры руками. Когда все это кончилось и я отошел от занавеси, Летищев обратился ко мне:

— Что, брат, какова? — спросил он.

— Прелесть! я поздравляю тебя, — отвечал я, — ты счастливец!

В эту минуту я не шутя завидовал Летищеву, и мне было как-то досадно смотреть на него: мне показалось, что он не в состоянии любить ее, что он вовсе не любит ее и что им движет одна суетность, одно тщеславие. Я не утерпел и заметил ему это.

Замечания мои, довольно резкие, не произвели на него впечатления; он улыбался очень приятно. Самолюбие его было удовлетворено тем, что я с таким жаром относился о Кате. От него, вероятно, не скрылось, что я немного завидовал ему.

— А не правда ли, счастливец? — говорил он, потирая руки и смеясь, — и какую чепуху ты несешь, что я не могу любить! С чего ты это взял? Ну, клянусь тебе, что я люблю ее больше всего на свете и готов всем пожертвовать для нее!..

Первый месяц прошел и для нее, и для Летищева в чад, в упоительном одурении. Он показывал ей себя ежедневно со всех сторон и во всевозможных видах: верхом, в ботфортах и в каске, в коляске, на рысаках, с разве-

вавшимя султаном, в дрожках, в одиночку и парой с пристяжкой; в окне в фантастическом домашнем костюме. Она только и делала дома, что подбегала к окну любоваться им, а от окна переходила к его подаркам — любоваться ими. Она была засыпана букетами и конфетами, завалена бархатами, шелками, различными тканями и драгоценными украшениями. Ей было так весело! Она была вполне уверена, глядя на все это и слушая самые страстные фразы, что она любима так, как ни одна женщина не была никогда любима; что этой любви, этим букетам, этим тканям, этим драгоценностям, всем этим сюрпризам не будет конца... А ко всему этому сестрица, также театральная девица, изведенная опытом жизни, беспрестанно нашептывала ей:

— Как он хорош! чудо! какой душка! как он богат и какой у него дядя — миллионер!.. Какие у него рысаки!.. ах, какие рысаки! Как он тебя обожает!..

Счастливица, Катя! ты в сорочке родилась!.. Он на тебе непременно женится!..

Она медни целует мою руку и говорит: "Ведь вы сестрица моя? я вас не иначе буду

звать, как сестрицей, как хотите, говорит, сестрица..." Ты будешь, Катя, дворянкой, заживешь в чертогах, станешь выезжать в самые знатные дома, давать у себя балы! Ай да сестричка моя!..

И она ухаживала за Катей, льстила ей, целовала руки, называла красавицей и при этом выпрашивала у нее различные вещи.

— Вот это материя-то, сестрица, попросте, — говорила она, — ты бы ее, голубчик, мне подарила. У тебя и без того платьев будет столько, что некуда девать... Все комоды ломятся от подарков...

Катя, впрочем, готова была, говорят, все отдать сестре и раздарить подругам, и только мысль, что это его подарки, удерживала ее от этого.

Между тем проходили месяцы за месяцами. Летищев становился как-то задумчивее. О нем начинали носиться недобрые слухи; ко мне он почти перестал ездить. Я где-то встретился с Броницыным. Броницын, скрывавший страшную гордость под утонченной вежливостью с своими старыми товарищами, с которыми он встречался редко, обратился ко

мне первый.

— Что Летищев? — спросил я у него.

При этом имени на лице Броницына показалась холодная и язвительная гримаса, заменявшая у него улыбку.

— Летищев, — повторил он. — Он ищет ста тысяч, которые ему очень нужны. Он у вас еще не просил? Ему поверить можно: ведь он наследник такого богатого дяди!

Если он не найдет ста тысяч, то ему придется жениться. Я советую ему жениться.

Он будет отличный муж, право: у него нежное сердце!

— Как жениться? на ком? — спросил я.

— На предмете своей любви. Что ж? это будет брак по страсти. Я люблю такие браки, тем более, что в наше время они редки. Оно, конечно, неприятно породниться с каким-нибудь поваром или с какой-нибудь дворничихой, да зато, батюшка, — любовь.

Броницын снова улыбнулся и рассказал мне с особенным удовольствием и очень подробно все отношения Летищева к Торкачевой. По его словам, у нее оказалась какая-то тетка, которая объявила Летищеву наотрез,

что если он желает свободно видеться с ее племянницей, то обязан: или обеспечить ее участь, или жениться на ней, что в противном случае тетка будет на него жаловаться; что между теткой и племянницей происходят всякий день сцены; что старшая сестра Торкачевой перешла на сторону тетки, и прочее.

Рассказ Броницына скоро подтвердился словами самого Летищева. Однажды вечером он приехал ко мне (я перед этим не видал его месяца два) в страшном волнении.

— Я к тебе, братец, за советом, — сказал он, — в тебе я найду участие, в этом я уверен; после князя Арбатова я тебя считаю лучшим другом... От других нечего ждать; все такие эгоисты, что ужас; а Броницын — *entre nous soit dit* — совсем бездушное существо: он хочет, кажется, отделаться от Пряхиной, — уж я вижу, что к тому идет. Он говорит, что у нее большие красные руки, а для него, видишь, руки главное в женщине... Он уж тайком заводит перестрелку с Прохоровой, у которой ручки выточены точно из слоновой кости... Это просто гадко, нечестно!..

Арбатов по этому случаю в довольно хо-

лодных отношениях с ним... И если бы ты знал, каким скаредом оказывается Броницын! рассчитывает каждую копейку при своем богатстве... Да будь у меня такое состояние, как у него, я еще, братец, не так бы показал себя. Обо мне осталась бы страничка в театральных летописях! Ах, кабы мне его деньги! Летищев передал мне о тетке Торкачевой почти то же, что Броницын, и остановился на минуту в отчаянии, схватил себя за голову, бросился на диван, ломая себе руки, и потом продолжал:

— Этот аспид, эта подлая кухарка переехала к ним. Она сторожит ее, не позволяет ей видаться со мною, всячески терзает, притесняет ее, пилит, мучит, не позволяет ей даже подходить к окну... Ну, откуда же мне вдруг взять сто тысяч, согласишься?

Я предлагал вексель. Арбатов ходил к старушонке, уговаривал, усовещевал ее — ничего не берет; слышать, проклятая, не хочет, подавай ей или деньги, или ломбардные билеты... то есть у меня просто голова, братец, трещит, я не знаю, что делать! Я с удовольствием бы дал заемное письмо в 200 000, если бы кто-

нибудь дал мне теперь его... Мне остается один выход, если я не достану, — жениться, потому что не могу же я оставаться в таком глупом положении, по месяцам не видеть Катю и знать, что ее мучат, — это ужасно! Я вчера с Арбатовым имел серьезное объяснение. Он говорит, что делать нечего — надо выйти в отставку и жениться... Что ты мне скажешь на это?

Летищев не без труда произнес последние слова и с беспокойством взглянул на меня.

— Ты сам, — отвечал я, — можешь это решить лучше, нежели кто-нибудь. Если ты ее точно любишь, если не увлекаешься подражанием или чем-нибудь другим, то женись; а иначе лучше поступи откровенно, разом прерви все и уезжай на время из Петербурга.

— Какое подражание! — возразил Летищев, несколько оскорбленный этим словом. — Я просто без нее пропал. Но дело не в том: в себе я не сомневаюсь... а тут другое... Будь она одна на свете, без роду, без племени, без всяких этаких теток, сестер, тогда бы я не задумался ни на минуту: а то... породниться черт знает с кем! Конечно, если бы я женился

ся, я не пустил бы этих сестер и теток на порог моего дома... Но все как-то неловко... Согласись, ведь я ношу старинное дворянское имя, мой дядя — ты знаешь, какую роль играет, к тому же он лишит меня наследства — вот ведь что! Я знаю, например, что Арбатов или ты, если я женюсь, будете уважать мою жену так же, как если бы она была урожденная какая-нибудь княжна: вы люди порядочные, без предрассудков; я от этого ничего не потеряю в ваших глазах... Ну, а что скажут какие-нибудь Красносельские, Броницыны и им подобные? какими глазами они будут смотреть на меня?.. Послушай, если б ты был на моем месте, скажи только откровенно, если бы ты любил, ты женился бы?

— Я думаю...

— Ты думаешь?.. Гм!..

Он начал прохаживаться по комнате.

— Я думаю тоже... да оно как-то... человек преглупо устроен... Ах, я забыл показать тебе ее письмо... Я получил его вчера. Вот оно... читай...

Я прочел:

*"Господи если бы ты знал что со мной*

делается, я просто сойду с ума, значит ты меня не любишь если ты так долго можешь со мной не видаться, а это зависит от тебя реши мою участь, тетенька говорит что если ты дашь слово, что женишься на мне то можешь приехать к нам хоть сегодня, она всю измучила меня говорит что ты меня обманывал и никогда не любил что она мне желает добра — если ты через три дня не приедешь к нам значит ты меня не любишь и я несчастная, тогда все кончено и я возвращу тебе все твои подарки и уж никогда не увидимся с тобою — что будет со мной я не знаю. Бог тебе судья, а я без тебя жить не могу, нет нельзя нам так расстаться я дольше терпеть не могу все сердце изныло. Один бы какой-нибудь конец — мне не нужно твоих подарков и денег я люблю тебя не из-за этого и бог свидетель что я брошу все не посмотрю ни на кого, и прибегу к тебе если ты меня не обманывал и точно любишь — делай со мной что хочешь у меня есть свой характер, и я никого не послушаю только люби меня, мне ничего ненужно —

*не томи меня больше.  
Твоя до гроба  
Катя Торкачева".*

— Ну что? — спросил Летищев, когда я отдал ему письмо.

— Она тебя любит, это видно.

— А я не люблю ее, что ли? Вот я докажу же тебе. Ты увидишь... слушай... едем сейчас ужинать к Фёльтету, заедем за Арбатовым, возьмем его с собою. И там порешим все. Так и быть: пропадай все — и дяди и тетки, кузины и весь свет, со всеми его глупостями и предрассудками! Катя будет моею, назло всем им.

И Летищев снова просиял при этой мысли, начал танцевать, напевать и прыгать.

— Ну, едем. Одевайся.

Когда мы сходили с лестницы, он взглянул на меня улыбаясь.

— Так ты во мне сомневаешься? — и запел из «Роберта»: "Обидное сомненье!" Мы ужинали втроем. После трех бутылок Летищев, с разгоревшимися щеками и сверкающими глазами, встал со своего стула и, обратясь к Арбатову, произнес торжественно, с замет-

ным, впрочем, волнением в голосе:

— Князь! сегодня решительный день в моей жизни! Я долго думал... выносить моего положения в отношении Кати я не могу больше. Я женюсь на ней, потому что без нее существовать не могу. Я подаю в отставку, устрою мои дела, а через три месяца обвенчаюсь. Завтра же еду к ней и объявляю об этом ее сестре и тетке. Вы знаете, что без вашего совета я ничего не делаю. Я вас считаю своим отцом и другом.

Благословите меня, князь!..

Арбатов был тронут до глубины этими словами. Он прослезился и бросился обнимать Летищева. После этих объятий Летищев закричал:

— Вина! вина!

Мы просидели у Фёльета до рассвета.

На другой день он отправился к Торкачевой. Выслушав предложение Летищева, тетка, сестра и Катя залились слезами от восторга, а тетка в приливе чувств, говорят, даже поцеловала его руку. Вечером об этом событии знали все театральные до последнего ламповщика. Катя была вне себя, убедясь, до какой

степени Летищев ее любит. И с этого дня они были почти неразлучны.

Слухи о том, что Летищев женится на танцовщице, быстро распространились по всему городу и дошли до графа Каленского. За неимением более существенных интересов город нашел себе довольно серьезную пищу даже в этой новости. Граф Каленский был взбешен до последней степени. Мысль, что его родственник (хотя и дальний) наносит такой позор своему имени, что он сделался городской сказкою, нанесла страшный удар его самолюбию. Он написал к Торкачевой письмо, исполненное угрозами и самыми оскорбительными для нее выражениями и эпитетами; объявлял, что, покуда жив, не допустит такого позора и не остановится ни перед какими мерами, чтобы образумить безумного молодого человека; прибавлял ко всему этому, что Летищев ничего не имеет, что он ничий, что до него дошли вести, будто он распускает ложные слухи, что он его наследник, для поддержания своего кредита, тогда как всем известно, что его прямые наследники такие-то и что даже если бы он и имел намере-

ние оставить ему что-нибудь после своей смерти, то гнусное поведение и поступки Летищева уничтожили бы это намерение, и проч., и проч.

Письмо это было доставлено домашним секретарем графа в собственные руки Торкачевой.

Катя прочитала его, вскрикнула и покати-лась на пол. Летищев явился к ней через полчаса после этого, бледный, расстроенный. Он знал обо всем, потому что сам получил письмо от дяденьки, в котором, между прочим, было упомянуто, что вместе с сим послано им письмо и к его сообщнице.

Когда он вошел к ней в комнату, Катя сидела бледная, как полотно, со взглядом, бессмысленно устремленным на одну точку, и с письмом, судорожно сжатым в руке.

Услышав его шаги, она вздрогнула, взглянула на него и молча протянула руку с письмом.

Летищев взял у нее письмо, разорвал его с негодованием на мелкие кусочки, бросился перед нею на колени, начал целовать ее руки, успокаивать ее, клясться ей в любви, плакать,

уверять, что дядя ничего не может сделать, что ему наследства дяди не нужно, что ему надо только устроить немного свои дела, что после уплаты кое-каких долгов у него останется еще довольно и что они могут жить вместе спокойно и обеспеченно.

Катя выслушала его и сказала:

— Я верю тебе, Коля! Я только боюсь твоего дяди; а мне все равно, хотя бы у тебя ничего не было. Теперь все кончено: я твоя... Ты не бросишь же меня, голубчик Коля! только кончай поскорей. Мне что-то страшно.

Летищев снова принялся ласкаться к ней и успокаивать ее, сестру, тетку, клясться Кате в любви, бить себя в грудь, кричать: "Тебя никто не отнимет у меня, никто!.." И Катя повеселела. Она улыбалась ему, обнимала его и целовала.

— Мы поедем в деревню к тебе. Там уж нечего будет бояться твоего дяди: он будет далеко... У тебя есть, Коля, оранжереи с цветами?..

— Превосходные! — перебил Летищев, — таких камелий нет и в Петербурге.

— Ну и прекрасно! Я летом приглашу к се-

бе Пряхину и Каростицкую... ведь можно? ты позволишь?..

— Еще бы!..

Летищев продолжал ездить к Кате всякий день. Собственные рысаки его и экипажи, впрочем, исчезли; вместо них появились ямские лошади и коляска довольно плохая.

Он с каждым днем становился все мрачнее и мрачнее. Она спрашивала его:

— Коля, да что с тобой? скажи.

— Какой вздор! ничего. Это тебе так кажется, — отвечал он.

А дело-то было, в самом деле, плохо. Все заемные письма, данные Летищевым, были поданы ко взысканию ростовщиками в тот самый день, как он получил отставку.

Когда Катя первый раз увидела его в статском платье, это ее несколько опечалило.

"Фи! как это не хорошо — без эполет и султана!" — сказала она. Но она примирилась с этою переменою при мысли, что дела их идут к развязке.

Прошло после этого два дня, и Летищев не показывался. Это ее встревожило, и на третий день она послала к нему письмо. Горничная,

относившая письмо, возвратилась с письмом назад и, как полоумная, вбежала к Кате.

— Ах! барышня, барышня! — закричала она, — ведь они уехали совсем отсюда!

— Как! кто уехал? куда? Что ты врешь!..

В доме поднялась суматоха. Тетка и сестра подняли крики, сами побежали к нему на квартиру. Квартира была заперта. Они бросились с ругательством к Кате. Катя твердила одно: "Не может быть, он не уехал, вздор!" Она не хотела этому верить.

Прошла неделя. Оказалось, что действительно Летищев бежал из Петербурга от долгов. Что было с Катей, когда она удостоверилась в этом, я не знаю; только, говорят, после страшной сцены с теткой и сестрой она отслала все подарки Летищева к его дяде, несмотря на все их сопротивление. Граф возвратил ей эти вещи при очень вежливом письме, в котором умолял ее, чтобы она не печалилась о его негодяе-родственнике, что он принимает в ней искреннее участие, что от нее зависит жить в богатстве и счастья и что он за высочайшее для себя наслаждение почтет удовлетворять все ее малейшие жела-

ния и прихоти, и проч.

Катя прочла это письмо и вместе с возвращенными вещами бросила их в физиономию его домашнего секретаря, который уже смотрел на нее с подобострастием как на будущую свою повелительницу.

С этих пор Кате, говорят, не было житья ни от тетки, ни от сестры. Подруги ее, жившие в богатстве и спокойствии на содержании, прекратили с ней всякие сношения как с безнравственной девушкой. Катя слегла в постель, потом немного поправилась; потом ей сделалось хуже, и через три месяца она умерла в чахотке.

Если бы, при своей пустоте и легкомыслии, она не имела любящего сердца, она бы, верно, осталась жива, была бы спокойна, счастлива, весела; она, подобно своим подругам, с самодовольством и гордостью до сих пор порхала бы по сцене, встречаемая восторженными рукоплесканиями своих обожателей, принимая эти рукоплескания за должную дань своему таланту; она, подобно им, живописно развалилась в коляске, летала бы по петербургским улицам; она, подобно им, мог-

ла бы приобрести дома, капиталы или выйти замуж за какого-нибудь статского полковника и на склоне дней своих, если бы бог благословил ее детьми, увидеть еще их, пожалуй, в блестящих мундирах.

Но Кате не суждено было этого: вся беда ее заключалась в любящем сердце!..

Мне сказывали — за верность этого я не ручаюсь, — что Летицев отказался от большей части своих векселей, отзываясь тем, что они подписаны были им до его совершеннолетия; что он написал письмо к дяде, и, раскаяваясь в своем прошедшем, умолял спасти его, избавить от тюрьмы, от позора и уплатить за него по тем векселям, которые он дал, будучи уже совершеннолетним; что великодушный дядя, тронутый его раскаянием и покорностью, пригрозив сначала ростовщикам, уплатил по этим векселям по 20 коп. за рубль, и что Летицеву осталась одна маленькая деревенька, в которой он сокрылся от всех тревожений.

Арбатов долго без ужаса не мог говорить о нем. "Такого пятна, — говорил он — и весь трясся от волнения, — какое нанес Летицев

театралам, еще в летописях наших не было примера. Это ужасно!" По его настоянию имя Летищева было исключено из летописи театралов, и до сих пор ни один театрал не произносит этого имени без благородного негодования.

### III. Зрелый возраст

После бегства из Петербурга Летищева и смерти Кати Торкачевой прошло несколько лет. Граф Каленский умер, оставив свое имение прямым своим наследникам, с обязательством выплатить, между прочим, французской артистке Кларе Бовалон одновременно двадцать пять тысяч серебром и Летищеву, также одновременно, десять тысяч; "ибо (так сказано было в духовном завещании касательно Летищева) еще при жизни моей уплачены были мною значительные суммы по его заемным письмам, снисходя его молодости и легкомысленным поступкам, что составит, с ныне завещаемыми мною десятью тысячами рублей, такой капитал, который мог бы обеспечить жизнь человека скромного и нравственного, дорожащего име-

нем своих предков и честью; следовательно, в отношении сего свойственника моего я все сделал, что повелевала совесть..." Князь Арбатов, доставший эту выписку из духовного завещания, показывал ее всем своим знакомым и прибавлял:

— Почтенный старик и в могилу-то сошел преждевременно по милости этого пустого мальчишки. Когда старику сказали, что имя Летищева выставлено на черной доске в нашей главной квартире и вымарано из книги театралов, он побледнел и едва, говорят, устоял на ногах!..

Новые поколения театралов сменялись одно за другим. О Летищеве никто бы и не подозревал из этих господ, если бы не князь Арбатов, который в поучение новичкам считал священным долгом передавать каждому его историю с Катей Торкачевой, и при этом, описывая красоту Кати, всякий раз растрогивался до слез. Однако в последние минуты, как истинный христианин прощая врагов своих, он простил, говорят, между прочим, и Летищева...

Я решительно забыл о существовании Ле-

тищева: в театры я ездил редко, с князем Арбатовым почти не встречался, и ничто окружавшее меня не могло напомнить мне ни о театральстве вообще, ни о моем старом товарище в особенности, — как вдруг однажды я получаю письмо, распечатываю, почерк как будто знаком, смотрю на подпись: Летищев. Письмо было довольно длинно, и я приступил к чтению его не без любопытства.

Вот оно, слово в слово:

*"Старый товарищ и любезный друг! Я уверен, что ты не совсем забыл обо мне в шумных удовольствиях столицы. Я, по крайней мере, очень помню о тебе, потому что всегда любил тебя искренно. Сколько времени прошло с тех пор, как мы расстались! стыдно тебе, что ты не написал мне ни одной строки о себе. Вы, люди столичные, ужасные эгоисты, а мы, провинциалы, не таковы. Я тебе расскажу о моей прошедшей жизни и сообщу тебе мою настоящую радость, которую, верно, ты разделишь по старой памяти ко мне. Живу я, братец, благодаря бога, недурно, в довольстве, даже в роскоши (по-нашему, по-провинциально-*

му); но мы во многом, может быть, не уступим и вам, столичным. Имя мое порядочное: я устроил его так, что в хороший год получаю до восьми тысяч серебром; к тому же оно расположено на одном из самых живописных мест в целой губернии. Я знаю, что ты как поэт пришел бы в восторг от Никольского — моей резиденции. Окрестности — это просто маленькая Швейцария. Дом мой устроен со вкусом — ты, верно, отдал бы мне справедливость, если бы увидел его; у меня махровые розы величиною с пионы. О таких у вас, в Петербурге, не имеют понятия. Я сделался страшным любителем флоры. Словом, я здесь устроился так, как нельзя лучше: я перенес в деревню весь столичный комфорт, без которого, признаться, я не мог бы нигде жить. На днях были у меня губернатор и предводитель дворянства, с которыми я очень хорош, и вообще меня здесь все любят. Губернатор сказал мне: "Признаюсь, ваше Никольское — маленький рай. Не выехал бы из него". Повар у меня отличный, так что губернатор

просил меня прислать к нему своего мальчика в ученье. Вина я выписываю от Денре. После обеда мы втроем расселись на балконе. День был чудесный, жаркий. Я велел подать бутылку редерера, и мы, попивая, наслаждались очаровательнейшим видом. Нет, брат, что ни говори, а и деревенская жизнь имеет свои приятности. Надобно тебе сказать, что я выбран уездным предводителем единогласно: ни одного черного шара.

Это показывает тебе, как расположено ко мне все дворянство. Соперником моим был некто Расторгуев, человек очень богатый и с весом, нажившийся взятками; однако его лихо прокатили на черных. У меня, любезный друг, такое собрание *vieux saxe*'ов, какому бы позавидовали многие из наших аристократов: штук до полутора ста тончайших. Комнату, в которой они расставлены на консолях, я назвал Саксонской. Жаль только, что здесь некому ценить моей коллекции: все эти помещики люди добрые, но страшные невежды и не умеют отличить саксов от мальцевских фарфоровых изделий...

черт знает что за народ! Отгадай, кто мой ближайший сосед... тебе, верно, никак не придет в голову... Скуляков! помнишь, которого мы называли в пансионе костоломом. У него, в пяти верстах от меня, душ тридцать или сорок, он один-одинехонек, мать его умерла, — все такой же чудак.

Живет в простой крестьянской избе, два сруба сдвинул вместе — и очень доволен; ни к кому не показывается, но ко мне заглядывает частенько: меня любит. Я его просил переселиться ко мне, соблазнял своим поваром; но он отказался. Вообрази, как-то на днях он обедал у меня; подали трюфели *a la serviette* (я провизию выписываю из Москвы)... он попробовал и есть не стал. "Точно, — говорит, — пробки", а трюфели были отличные, французские, присланные мне Морелем. "Ты, — говорит, — извини меня, но я наши русские грибы предпочитаю". Я не знаю человека, у которого менее был бы развит вкус: квас предпочитает лафиту, а трюфелям грузди! Впрочем, малый он вышел славный и страшный патриот. Он много читает, даже выписы-

вает ваши петербургские журналы, несмотря на то, что по его средствам это уже роскошь. Он философ, потому что вообще довольствуется малым. Что касается до меня, я философии никогда не понимал, и меня удивляют люди, подобные Скулякову. Может быть, они и счастливы по-своему; но мы, привыкшие с детства жить как порядочные люди, не в состоянии, братец, понять этого грубого счастья; нам — что с нами будешь делать! — нужны и саксы, и трюфели, и бутылка доброго старого лафита. Избалованы мы, дружок, страшно избалованы!.. Но я заболтался, а не сказал тебе еще самого главного — моего счастья, моей радости. При всех удобствах моей деревенской жизни я все-таки страшно скучал: в деревне долго жить одному нет никакой возможности. Несмотря на то, что валяешься на мягких мебелиях, смотришь на хорошие картины (у меня, братец, есть, между прочим, два настоящих Перуджино и один великолепный Грёз), несмотря на то, что ешь и пьешь хорошо, а все недостает чего-то... Я на-

чал это чувствовать особенно сильно в последнее время и понял, что в доме без хозяйки плохо. В верстах сорока от меня есть село — пятьсот душ и пропасть земли, в одной меже: десятин по двенадцати на душу; а это в наших местах редкость. Село это именуется Шмелево, Рагузино тож. Барский дом, каменный, старинный. Крестьяне зажиточные. Проезжая через это имение, я всегда любовался им. Я знал, что оно принадлежит старушке, вдове генерал-майора Рагузина, которая года два назад тому, возвратясь из-за границы с своей единственной дочерью, поселилась тут. Я много слышал о них от нашего губернского предводителя и от губернатора. Оба они отзывались о матери и в особенности о дочери с величайшею похвалою. Предводитель не раз говорил мне, что дочь просто красавица и получила самое утонченное европейское образование, и при этом всегда потреплет меня, бывало, по брюху (а надобно тебе сказать, что я порастолстел-таки порядочно на вольном воздухе) и прибавит: "Вот бы вам, батюшка, невеста!" Я смеялся.

Невеста да невеста — так она и прослыла моею невестою почти в целой губернии, хотя мы друг друга в глаза не видели. И всякий раз, когда при мне заговаривали о ней, я чувствовал, сам не знаю отчего, какое-то невольное волнение, а знакомство все откладывал да откладывал. Меня останавливала, правду тебе сказать, боязнь, чтобы не подумали, что я хочу жениться по расчету. Брак по расчету всегда казался мне отвратительным, на такой брак я никогда не был способен... Месяца два тому назад, накануне Петра и Павла (приходский праздник в Шмелеве), возвратясь вечером после прогулки домой, я думаю: "А что, не поехать ли мне завтра в шмелевскую церковь к обедне?.." Как мне пришла эта мысль в голову, я до сих пор не могу понять. Всю ночь я грезил шмелевской барышней, встал рано, да и велел закладывать лошадей. Подъезжая к Шмелеву, у меня так и забилося сердце. Вхожу в церковь — все расступились передо мною; я прохожу вперед и становлюсь у правого клироса. Помолясь усердно, с каким-то особенным

чувством, так, как давно не молился, я осмотрелся кругом.

Вижу: у левого клироса, на ковре, стоят мать и дочь. Как я взглянул на дочь, так и обомлел: все описания ее оказались жалки и бледны сравнительно с тем, что она на самом деле. Вообрази себе в полном смысле красавицу: больше, чем среднего роста, талия — чудо, волосы как смоль и коса ниже колен, карие дивные глаза, аристократический профиль, некоторая бледность в лице. Одевается — прелесть!

Словом, совершенство!.. Чтобы дать тебе о ней еще более ясное понятие, я скажу тебе, что она напоминает портреты Марии-Антуанетты — только en beau. И как она горячо и усердно молилась, если бы ты видел! Это обстоятельство меня окончательно расположило в ее пользу.

Смотря на нее молящуюся, я увидел, что эта девушка получила нравственное, солидное, религиозное воспитание, что это именно одна из тех девушек, которая может составить счастье человека. Теперь, когда я уже близко

знаю ее, я вполне убедился в этом. Она добра и кротка, как ангел.

Скуляков ее знает — и даже этот мизантроп от нее в восторге. По рождению она аристократка. Мать Рагузиной — ближайшая родственница князьям Волынцевым. После обеда я подошел к старухе и сам представил ей себя, а старуха представила меня дочери и пригласила провести этот день с ними. Я, разумеется, не отказался. Старуха — тоже прелесть, настоящего старого аристократического закала, с седыми пуклями под чепцом. Когда они были в Париже, к ним ездили все сен-жерменские знаменитости, вся старая французская аристократия... Верить ли, с первого взгляда на мою Alexandrine я почувствовал такую страстную, такую горячую любовь, о какой я до тех пор не имел никакого понятия. Какая-то непреодолимая симпатия вдруг привлекла меня к ней. Нельзя не верить сочувствию души. Тут только я понял, что к Кате Торкачевай я никогда не чувствовал настоящей любви, что это было мальчишеское увлечение, что я волочился за

нею так только, чтобы не отставать от других, и вспомнил твои слова, за которые я, бывало, на тебя сердился. Да, ты был прав, тысячу раз прав! Мне теперь стыдно и совестно вспоминать о моих глупостях и проделках. А ведь Катя меня любила!.. Бедная девушка! В день ее смерти я аккуратно каждый год служу по ней панихиду. С незабвенного для меня дня Петра и Павла я начал чаще и чаще ездить к Рагузиным, и всякий приезд к ним открывал в Alexandrine какие-нибудь новые достоинства. Представь себе! У нее чистейший парижский выговор и такая ножка, какой никогда и во сне не видала ни одна из наших танцовщиц. Все башмаки, которые хранятся в главной квартире театралов, не исключая и башмака Тальони, ей не годятся даже для туфель. О, если бы Арбатов увидал эту ножку, что он сказал бы!.. Кстати, выдаешь ли ты Арбатова, и неужели он все еще вооружен против меня и смотрит на глупость молодости, как на преступление? Что Броницын? все лезет в гору? Что, он все еще живет с Прохоровой или уж за-

был о своем театральстве?..

Напиши обо всем... А для меня, братец, все это прошедшее кажется теперь чем-то баснословным, хотя, признаться, если бы я приехал в Петербург и отправился в Большой театр, то мои старые театральные кости, мне кажется, еще расходились бы...

Но все это глупость, *top cher*. Истинное счастье — счастье семейное, а Катя никогда не могла бы составить моего счастья, потому что нас разделяла бездна, и мы не могли понимать друг друга. Рождение и воспитание много, милый друг, значат... Только одинаково рожденные и воспитанные могут чувствовать настоящую симпатию друг к другу... И если бы ты знал, как твоего толстого приятеля любит его невеста!..

Поздравь же меня; я счастлив, я женюсь, я начинаю, братец, гордиться собой и находить, что во мне есть действительно что-нибудь: иначе я не возбуждал бы к себе чувства любви. В то же время я чувствую, что я не стою моей *Alexandrine*: она и умнее, и образованнее меня во сто раз... Всю

эту вашу литературу и политику знает наизусть. Не смейся, ей-богу, правда... Она меня просто удивляет. В приданое за ней мать отдает Шмелеву, пятьсот душ и, кроме того, земли в Крыму, овцеводство и значительный капитал; но я об этом мало забочусь, потому что имею свой кусок хлеба и ни на минуту не задумался бы жениться на ней, если бы она ровно ничего не имела. Порадуйся же, эгоист, счастию твоего старого товарища. В моей женитьбе есть какое-то предопределение свыше; знакомство с нею в церкви — это тоже добрый знак. Я на днях ездил в Ипатьевскую пустынь по обещанию. Я наложил на себя этот обет заранее, если все счастливо кончится. Беседовал с игуменом. Он и меня, и ее давно знает, поздравлял меня и сказал, что бог благословит наш брак, потому что "ваша невеста (это его собственные слова) богобоязливая и прибежная к церкви...". И это действительно справедливо. Ах, как она молится, если бы ты видел!.. Теперь у меня хлопот полны руки: разные закупки и выписки из Москвы и из Петер-

бурга. Карету я выписываю от Фребелиуса... карета темно-синяя, а обивка внутри цвета Marie-Louise: это будет недурно... Помещики здешние, проведав о моих затеях, удивляются и ахают: им все в диковину, и каждая вещь кажется им разорением. Совершенные дикари! Что делать? Моя слабость, чтобы все было у меня порядочно, по-барски. Прощай! Обнимаю тебя. Может быть, увидимся в Петербурге, и скоро, а до тех пор не забывай меня и напиши мне, гадкий эгоист, в ответ на мое длинное послание хоть несколько строчек... Когда мы свидимся в Петербурге, ты увидишь, что я еще, впрочем, не совсем опровинциализился и, как говорится, не левой ногой нос сморкаю. Еще раз обнимаю тебя от души и повторяю: пиши! пиши!

P. S. Я о тебе много говорил моей нареченной. Она тебе кланяется и горит нетерпением тебя увидеть, потому что по моим словам полюбила тебя заочно".

После этого письма я в течение многих лет ни от кого не слышал о Летищеве и не получал уже более от него никаких писем.

Года три тому назад, в одно солнечное и морозное утро, я зашел в какой-то кафе-ресторан на Невском проспекте и в ожидании чашки кофе перелистывал газету, лежавшую передо мною. Вдруг дверь ресторана с шумом отворилась, ударившись об угол стола, так что все присутствовавшие, в том числе и я, невольно обратились на этот шум. В двери с трудом влезала медвежья шуба и, распахнувшись, обнаружила пыхтящее тело невероятной толщины, за которым следовал жиденький и белобрысенький молодой человек с застывшей на лице улыбкой. Тело в медвежьей шубе остановилось посреди комнаты, осмотрелось кругом и, полуоборотом взглянув на молодого человека, следовавшего за ним, произнесло:

— Фу, какая жара! фу!.. А что, братец, закусь хочешь? спрашивай себе, что хочешь, дружок. Мне смертельно есть хочется...

Молодой человек наклонил на эти слова свою головку и придал своей неподвижной улыбке приятность посредством расширения рта.

— Эй, ты, мусье! — вырвался пронзитель-

ный, тоненький голосок из тучного тела, которое обернулось к лакею, — подай карту, покажи, что у вас там есть; накорми нас, милый друг, посытнее да повкуснее: мы вот с ним проголодались... Фу! Фу!

Этот голосок, выходявший из тучного тела, показался мне будто несколько знакомым.

— Ба, ба, ба!.. — При этих звуках из медвежьей шубы высунулись руки и простерлись ко мне. — Вот встреча, вот встреча!.. Фу!.. Да что ты так выпучилто на меня глаза? Не узнаешь, в самом деле, что ли?.. Летищев, братец... он сам, своей персоной.

И он навалился на меня, обнимая и целуя меня.

После этих объятий я долго не мог оправиться.

"Неужели это действительно Летищев, — думал я, — тот самый, который некогда в блестящем гвардейском мундире, с перетянутой талией, живой и вертлявый, волочил за Катей Торкачевой?.." — Я, кажется, привел тебя в изумление моей корпоренцией? — продолжал Летищев.

— Что ж? фигура, братец, почтенная, не

правда ли? настоящая предводительская!

Ну, как ты, голубчик, поживаешь? Ты не меняешься ничего... Сразу узнал тебя. Я на тебя, братец, сердит, очень сердит... Фу... экая жара! Ну, как это можно, в продолжение пятнадцати лет ни строчки! На что это похоже!.. А я все-таки хотел к тебе сегодня же заехать. Я ведь только третьего дня ввалился в вашу Северную Пальмиру, еще никого не видал, ни у кого не был. Вчера целый день отдыхал после дороги. *Charme, charme de te voir, mon cher*, очень, очень рад!

И он жал мне руку.

— Однако, брат, дружеские излияния сами по себе, а желудок сам по себе. Желудка дружбой не накормишь... Я страшно отощал, должно быть оттого что прошелся... Я ведь, братец, ходить не привык, в деревне мы ходим мало... У меня там этакой кабриолетик на лежачих рессорах... я нарочно, по своему вкусу, заказал в Москве... вот спроси у него...

Он ткнул пальцем на молодого человека.

— Прекрасный экипажец! — проговорил молодой человек.

— А я тебе не рекомендовал еще этого юно-

шу-то? Имею честь представить: это, брат, мой секретарь... Я без него пропал бы здесь. Все эти покупки, закупки, счета и расчеты — это уж его дело... Мусье! любезнейший! ну, что ж карту-то!..

— Карты нет-с; а что прикажете, — отвечал лакей, — вот закуски здесь на столе-с.

— Ну, какие у вас там закуски! мерзость какая-нибудь! а вели-ка мне изготовить лучше две хорошие сочные котлеты... Да вот и юноше-то подай чего-нибудь... Чего ты хочешь?..

Секретарь переминался и ухмылялся.

— Да полно церемониться-то! этакой ты гусь, право! ешь, что душе угодно, спрашивай себе, чего хочешь, и плати, сколько вздумаешь. Деньги ведь в твоём распоряжении... Я, братец, и денег с собой не ношу: все у него, он у меня и министр финансов... Эй, вы, котлет-то подайте мне скорей! а покуда, чтоб заморить червяка, дайте хоть две-три тартинки с чем-нибудь... Ну, уж ваш Петербург! беда! — продолжал он, разжевывая тартинку, — с ума сойдешь от этих одних визитов... бабушки, да тетушки, да министры, да гофмейстеры, да

церемониймейстеры... Рожу-то мою все знают: не скроешь ее от них... Сегодня утром в десять часов уж напялил на себя мундир и успел побывать у двух почтенных старцев и принят был, братец, ими просто вот как!

Он приложил свои пальцы к губам и чмокнул.

— Любят меня почему-то, помнят... дай бог им здоровья. Один из них сказал мне, между прочим: "Я, — говорит, — еще помню тебя юнкером; тебя, — говорит, — фельдмаршал называл всегда молодцом и очень любил тебя". Старец, а ведь памятьто какая!.. Ну, однако, расскажи, как ты поживаешь, как идут твои делишки?..

— Ничего, так себе... Ты приехал надолго?

— Да сам не знаю, голубчик! надо представляться разным высоким особам, из которых некоторые, судя по намеку почтенного старца, изъявляют сильное желание меня видеть. На что я им? вот спроси! Объезжу весь ваш петербургский monde и закончив эту процедуру, займусь своим дельцем: ведь у меня процесс еще, братец, в триста тысяч рублей серебром — *bagatelle!* Ты знаешь, что зна-

чит процесс?.. А! да вот и котлеты!

При виде котлет глаза Летищева заискрились, и он начал беспокойно облизывать губы, тыкая нетерпеливо за галстух салфетку.

— Нельзя, братец, без этого, а то закапаешь себе рубашку: возвышение-то это проклятое мешает.

Он указал на свой живот и залился добродушным смехом, обнаружив при этом десны и маленькие гнилые и почерневшие зубы, едва в них державшиеся.

— Экое дерево! — сказал он, ткнув вилкой котлетку, — не умеют и котлетку-то порядочно приготовить, — а еще Петербург!.. Не стыдно тебе это?

Он посмотрел на лакея.

— Да знаешь ли, что у меня, в деревне, последний поваренок приготовит лучше этого?.. Эх, вы!.. Я, братец, вчера вечером (он обратился от лакея ко мне) задал такую гонку вашему Дюссо. Я ведь его не знаю: при мне еще был Фёльет и Легран...

Слышу от всех приезжих: Дюссо да Дюссо! Ну, думаю себе, попробую я этого хваленого Дюссо. Приезжаю. Заказал ужин. Говорю:

"Дайте мне всего, что есть у вас лучшего". Кажется, ясно?.. Подают мне первым блюдом филе из ершей... Ну, что ж это, братец, за блюдо? просто какой-то воздух с травой и прованским маслом, и масло-то еще не свежее. Я на сцену моего старого друга Симона. "Позови-ка мне, — говорю я, — твоего Дюссо-то: я с ним потолкую кое о чем". Приходит этакая приземистая фигурка, вертится передо мною и говорит: "Monsieur, qu'y a t'il pour votre ser vice?.." Я посмотрел на него и говорю:

— Вы меня не знаете, а?

— Non, monsieur, pardon.

— То-то pardon! А вот вы спросите-ка обо мне лучше вашего Симона, так он вам порасскажет кое-что, кто я и прочее... Я вот тоже не имею удовольствия знать вас, потому что проживаю в своих деревнях и в Петербург езжу редко; а предместников ваших Фёльета и Леграна знал коротко, и они меня коротко знали и любили. Я здесь оставил тысяч до пятнадцати, — следовательно, хоть на столько приобрел вкуса, чтобы отличить дурное масло от хорошего... Вы понимаете меня?..

Я купил, говорю, себе право этими пятна-

дцатью тысячами быть несколько взыскательнее других... Ни Фёльтет, ни Легран мне такого масла не смели подавать; а вы думаете, что вот приехал человек, вам не известный, в первый раз, провинциал какой-нибудь, так, дескать, и подсуну ему что ни попало. Ошибаетесь, я говорю, г. Дюссо, ошибаетесь, не на такого напали: я-таки в гастрономии коечто смыслю. Вот спросите обо мне у князя Броницына, у графа Красносельского, у графа Бержицкого: это мои короткие приятели. Вы, чай, их знаете?.. "Как же, говорит, же лонёр..." — а сам переконфузился, кланяется, извиняется, затормошил всех лакеев, сам побежал на кухню, и действительно уж накормил меня превосходно.

Выходя, я потрепал его по плечу и говорю: "Ну, Дюссо, теперь я не сомневаюсь, что ты артист в своем деле!.." И он был этим, братец, ужасно доволен!.. Мой юноша-то все удивляется, глядя на меня. "Вы, — говорит, — Николай Андреич, в Петербурге распорядитесь, точно как у себя в Никольском..." — Это правда-с, — заметил молодой человек, торопливо проглатывая кусок и спеша улыбнуться.

— Чудак ты! чему тут удивляться? — заметил Летищев, посмотрев на него благосклонно. — Ведь я, слава богу, Петербург-то знаю, пожил-таки в нем, познакомился с ним, вот спроси-ка у него (он указал на меня). Я тысячу до ста серебром бросил в его ненасытную пасть: так уж после этого церемониться с ним не могу, прошу извинить... Однако не пора ли нам, господин секретарь? который час?

Он вынул толстые золотые часы на толстой цепочке и произнес:

— Эге-ге! уж около трех... Вот, братец, часы-то рекомендую: этих часов само солнце спрашивается. Посмотри, внутренность-то какая.

Летищев попробовал открыть внутреннюю дощечку.

— Нет, не открываются, черт их возьми! — пробормотал он, — боюсь, еще ноготь сломишь. — И он положил их в карман, прибавив: — за эти часы мне пятьсот рублей серебром давал в Москве Митька Перелезин. Ты знаешь его?.. Ну, секретарь, отправимся путешествовать по магазинам... Сколько комиссий надавали! А пуще всего меня беспокоит

это модное тряпье: блонды да гипюры, да шляпки, да эти разные фалбалы. Еще, пожалуй, не угодишь. Впрочем, нет, моя жена не такова... Мы с ней живем душа в душу... вот спроси у него... Это ангел доброты, *et c'est une femme distinguee, mais tout a fait distinguee, mon cher*. Я уверен, что ты был бы от нее в восторге и полюбил бы ее... Поручила мне, братец, целую библиотеку закупить... Куда это мы все уложим только в Москве, я не знаю: ведь в дормез нам не поместить всего?... как ты думаешь, юноша?

— Да-с, трудновато будет-с, — отвечал секретарь.

— То-то, братец! Надо будет об этом серьезно подумать.

— Не беспокойтесь, — возразил секретарь, — уж как-нибудь устроим.

— То-то, смотри же...

Летищев отвел меня несколько в сторону и произнес вполголоса, кивая головой на секретаря:

— *Un bon enfant, excellent...* Я взял его, братец, к себе мальчишкой, нищим. Он и вырос у меня в доме и привязан ко мне и к жене, как

собачонка. И ведь какой аккуратный, деловой малый! он у меня заправляет всей моей канцелярией... Ну, до свиданья, мой милый! Я к тебе первому непременно приеду, когда окончу все мои важные визиты; надеюсь и ты заедешь ко мне. Я остановился у Кулона, занимаю два номера: 22-й и 23-й; ведь одного мне мало по моему сложению. В Москве так я всегда останавливаюсь в «Дрездене» и всегда занимаю 1-й номер. Там уж так и берегут его для меня: огромная комната, настоящая танцевальная зала; да я, признаться, терпеть не могу маленьких комнат: в них как-то тяжело дышать... Но я заболтался с тобой... Прощай, прощай, до свиданья... Расплатился, юноша?

— Да-с...

— Ну так марш... Au revoir, mon cher, au revoir.

И Летищев вышел из кафе-ресторана с тем же эффектом и шумом, с каким вошел, весь сияя самодовольствием и произведя сильное впечатление на всех присутствовавших.

После того, во время пребывания его в Петербурге, я встречался с ним довольно часто у наших общих знакомых. Он рассказывал нам

о различных политических и административных проектах, которые будто бы переданы ему были самими министрами, по секрету; о том, как он разным значительным особам режет, не церемонясь, правду в глаза и как эти особы взяли с него честное слово, чтобы он прямо писал к ним обо всем и не стеснялся ничем; как петербургские князья и графы, его старые приятели и товарищи, обрадовались его приезду; как один из них, еще бывший при нем в полку юнкером, объявил ему, что назначен полковым командиром того же самого полка, и как он отвечал ему на это: "Полно, Миша, полно!! Врешь, братец, ни за что не поверю. Что ты мне этакую фанаберию несешь? За кого ты, голубчик, меня принимаешь?" И как потом, удостоверясь в этом, он обнял его, поцеловал и сказал: "Ну, Мишук, от души поздравляю тебя; но признаюсь откровенно, что после этого нет в мире чудес, которым бы я не поверил!" Мне особенно памятна длинная речь, произнесенная однажды Летищевым, когда при нем зашли толки о трудности управления именьями и о характере русского крестьянина. Он вдруг прервал разго-

вор двух господ, очень серьезно рассуждавших об этих предметах.

— Это все не то, господа! — сказал он, — вы, говоря откровенно, увлекаетесь различными фантазиями и фантазмагориями. Я желал бы, чтобы кто-нибудь из вас заглянул в мои имения. Я смело могу сказать, что каждый из моих крестьян благословляет свою судьбу. Правда, у них все есть, что им нужно: по три, по четыре лошади на тягло, по две коровы, — ну, и прочего скота в той же пропорции; избы у них выстроены из хорошего леса, прочно, большею частью в имении жены моей (у меня, правда, этого нет), на каменных фундаментах; оброк с них берется умеренный... Чего же им?.. Да если бы я, например, не родился тем, что я есть, я желал бы быть моим старостой Васильем Антипычем, ей-богу: у него, говорят, тысяч пятнадцать серебром капитала. Для мужика это, надеюсь, деньги! Он ходит в синем сукне, отпустил себе такой же живот, как у меня, такой видный из себя, седая огромная борода... Эта вся мелюзга однодворцы, мелкопоместные кланяются ему чуть не в пояс... Дети его все переженились,

и все молодец к молодцу, народили детей в свою очередь. Внучаты пищат и копошатся около дедушки, а он только ухмыляется да поглаживает себе бороду... Патриарх, настоящий патриарх!.. Я часто захожу к нему в гости. Изба у него чистая, прекрасная. Он всегда угощает меня солеными груздями или сотовым медом... чем-нибудь в этом роде... У него все это подается отлично, и всегда еще красную ярославскую салфетку расстелет на стол... Я однажды этак сажу у него и говорю ему:

— Славно ты поживаешь, Василий Антипыч: всего у тебя вдоволь, всем бог тебя благословил; а денег-то у тебя, я чай, и куры не клюют.

— И, батюшка Николай Андреич! — говорит (плут страшный — прикинулся таким смиренным и кланяется мне в пояс). — Что изволите, — говорит, — шутить: уж какие у нас деньги, откуда взять мужику денег!

— Ну полно, полно! — говорю, — знаем мы тебя. Что скрывать-то. Я ведь у тебя денег твоих не отниму...

— Да что, — говорит, — батюшка, я вам

правду скажу, как перед богом: вы отцы наши, от вас скрываться не приходится. По милости вашей скопил маленько.

— Ну, — я говорю, — отчего же ты, братец, у меня не откупишься со всей семьей, али боишься, что я с тебя сдеру много?

Старик мой так и расходился.

— Да помилуйте, — говорит, — батюшка! зачем мне откупаться от вас? да сохрани меня господи и помилуй от этого! Я, — говорит, — честью служил вашему дедушке, вашему родителю, вам теперича служу: да мы у вас, как у Христа за пазухой... Что это вы говорить изволите! На что мне, — говорит, — воля-то, на что? Мы, — говорит, — искони-де к вашему роду приписаны: так, — говорит, — за вами и останемся на веки вечные... Я и детям-то своим заказал, да и внучатам-то закажу служить вашим детям и внучатам.

— Да детей-то у меня, старина, нет — вот мое горе...

— Помолитесь-ка, — говорит, — поусердней, батюшка, так господь пошлет... И мы, грешные, ваши рабы, об этом помолимся. А у самого слезы на глазах, и меня тронул до слез.

Летищев произнес последние слова дрожащим голосом и прибавил через минуту:

— Вот он, господа, неиспорченный-то русский человек, как есть и каким должен быть!

Некоторые смотрели на Летищева с негодованием, другие как на шута; находились и такие, которые принимали его серьезно. Он не замечал этих различных впечатлений, производимых им, и обращался ко всем одинаково радушно и сияя самодовольствием.

Однажды, когда мы сидели с ним вдвоем, он стал передавать мне о своей жене, о их взаимных отношениях и любви друг к другу, по поводу полученного от нее письма.

Он был действительно взволнован и расстроган, и слезы так и капали у него из глаз.

— Нет, душенька, — говорил он, — здесь у вас хорошо, все ваши тузы здешние меня ласкают; но дома все-таки лучше. Так и тянет в деревню. Признаться тебе откровенно, я брат, соскучился без жены; иной раз так взгрустнется без нее, что просто мочи нет.

И он почти давился слезами. Он даже расстрогал меня.

Я думал: "А может быть, в этой туше и в са-

мом деле еще таится что-нибудь человеческое; может быть, под этим мясом бьется еще не совсем испорченное сердце; может быть, он не шутя хороший семьянин и добрый помещик?.." В его мелком тщеславии для меня было более забавного, чем оскорбляющего.

Всякий раз, например, когда мы выходили откуда-нибудь вместе и когда он влезал в ямскую карету (в санях и особенно на простом извозчике он ни за что не решился бы проехать), он непременно кричал извозчику: "Пошел к князю такому" или "графу такому-то. Знаешь?" И извозчик его всякий раз отвечал утвердительно: "Знаю-с!" Впоследствии оказалось, что каждый из знакомых Летищева носил непременно название какого-нибудь князя или графа. Через несколько дней после отъезда Летищева этот извозчик перешел к одному барину, выезжавшему в большой свет. Барин приказал ему однажды возить себя к княгине Б\*. Извозчик отвечал: «Знаю-с» — и махнул кнутом.

Он вез его, вез и наконец остановился. Барин вышел из кареты и, к изумлению своему, увидал себя в какой-то незнакомой улице.

— Что это значит? куда ты привез меня, болван? Барин очень рассердился.

— Как куда! к княгине Б\*... Слава богу, я ведь знаю. Я ездил с Николай Андреичем...

— Что ты врешь? Какой Николай Андреич? — вскрикнул барин.

— Какой? Летищев Николай Андреич. Да уж не извольте, батюшка, беспокоиться: княгиня тут живет. Мы с Николай Андреичем у их сиятельства-то почитай всякий день бывали: как не знать!

Извозчика трудно было убедить, что княгиня живет не тут, он твердил все одно:

"Николай Андреич... они уж всех князей знают, у них уж все знакомство такое".

Барин от гнева перешел к смеху, и через несколько дней это сделалось известно всему Петербургу и самой княгине Б\*, которая и не подозревала о существовании Летищева.

Слабость моя к Летищеву доходила до того, что мне даже было больно смотреть на него, когда он, на улице, в ресторанах и в театрах, бросался к своим старым товарищам, князьям и разным светским людям с растопыренными руками, с криками, с восторгом, с про-

стодушными улыбками и был встречаем холодными словами и полупоклонами. На него, однако, ничего не действовало: он продолжал лезть к ним и кричать: *mon ami prince* Броницын или Павлуша Броницын.

Я был свидетелем один раз встречи Летищева, вскоре после его приезда в Петербург, с бароном Щелкаловым в театре во время между действия. Он был с Щелкаловым некогда в приятельских отношениях и на ты. Пробираясь и пыхтя в толпе, Летищев наткнулся животом своим на Щелкалова, шедшего ему навстречу.

Щелкалов сделал движение назад, бросил на него взгляд свысока, отвернулся и начал смотреть на ложи.

— Душенька! здравствуй, братец! как я рад!

И Летищев ухватился за обшлаг его фрака, не замечая, что тот отворачивается от него. Щелкалов сдвинул брови и вставил в глаз стеклышко, осмотрев его с недоумением.

— Вот что значит запасться такою горкою! — завизжал Летищев простодушно и обвел рукою кругом себя, — и старые друзья не

узнают!.. Летищева помнишь?..

Щелкалов сделал движение губами, еще раз свысока взглянул на него и произнес сухо и резко: "А!", пробормотав несколько несвязных слов: "Очень рад... да... потолстел... откуда?.." Летищев хотел обнять его; но Щелкалов почти отвел от себя его руки и, сделав шаг вперед, натолкнулся на Броницына, коснулся его плеча и, кивнув назад головой на Летищева, произнес громко: "Каков? недурен барин" — и самодовольно прошел дальше, не подозревая того, что Броницын, в свою очередь, обратился к какому-то своему приятелю и, с язвительной гримасой указав на Щелкалова, произнес:

— Тоже хорош!..

Летищев пробыл в Петербурге около месяца и накануне отъезда, ввальясь ко мне в квартиру, чуть не оборвал звонка у двери, нахвостал мне с три короба, простился со мною с величайшей нежностью и взял с меня слово, если я когда-нибудь буду проезжать через Н\*, непременно заехать к нему в деревню.

— Уж угощу, милый, дорогого гостя, — прибавил он в заключение, — вот как угощу! та-

ким старым бургонским попотчую, какого ты отродясь не пивал!..

— Ну, а процесс-то твой? — спросил я.

— Процесс? какой процесс?.. Ах, да, да! Он еще нескоро, но непременно кончится в мою пользу. Дело приняло такой оборот. Это, между нами, мне шепнул на ухо один почтенный старец!..

#### IV. Закат

**В** начале лета 185\* года я по делам совершенно неожиданно должен был ехать в Н\* губернию. В Н\* я пробыл только один день и оттуда отправился в Р\*, уездный город этой губернии, где должен был прожить по крайней мере около двух недель. Жить в уездном городе, возиться с делами и с приказными не забавно. Я вспомнил о Летищеве и о своем обещании побывать у него. Уездный судья на мои расспросы отвечал, что имение Летищева верстах в двадцати от города, что дорога туда прекрасная и что меня могут доставить менее чем в два часа.

— А вы знакомы с Николаем Андреичем? — спросил меня судья и, как мне показав-

лось, с какою-то странною улыбкою.

— Он мой школьный товарищ, — отвечал я, — а что?

— Нет, ничего. Он хороший человек, весельчак и любит жить шибко. Кабы ему только денег побольше. Он был у нас предводителем одно время, так уж такие пиры задавал... и... так немножко...

Судья остановился.

— Да вы, пожалуйста, не стесняйтесь: говорите прямо, — возразил я.

— Порасстроился немножко, позапутался... А мы любим Николая Андреича: у него доброе сердце, хороший человек. Дай бог, чтобы все только кончилось хорошо.

— А разве с ним случилось что-нибудь особенное?

— Особенного ничего; только вот, по случаю последних обстоятельств, насчет сукна маленькая история. Его надули с сукном: подсунули гнилое. Теперь на нем денежный начет: обвиняют его в сделке с поставщиком и забаллотировали на последних выборах... Жалко... Конечно, и то сказать, что ж делать дворянству? ведь это падает на дворянство...

На другой день после этого разговора, часу в одиннадцатом, я отправился проселком в деревню Летищева. День был солнечный, солнце пекло сильно.

Извилистая дорога шла между пашнями, прерывавшимися кустарником. В это лето в Н\* губернии были ужаснейшие засухи. Мелкая и черная пыль поднималась от движения лошадей и колес тарантаса густым столбом, останавливалась в недвижимом воздухе, пронизываемая палящими солнечными лучами, ложилась пустыми слоями на поднятый верх тарантаса, на подушки, на шинель мою, на фуражку, на лицо, щекотала нос и забивалась в рот. Я задыхался от жара, беспрестанно отмахивался от пыли, от неотвязчивых и вялых мух и при всем желании никак не мог наслаждаться окружавшей меня природой — однообразными, но милыми сердцу видами. Дорога мне показалась ужасно длиною.

— Скоро ли Никольское-то? — спросил я у ямщика.

— Теперь недалеко: с версту али с две — только, — отвечал он, лениво помахивая кнутом над измученными лошаденками и приго-

варивая: — но-но-но!

Я высунулся из тарангаса и посмотрел на обе стороны: однообразная, мертвящая гладь кругом. "Где же эта маленькая Швейцария-то?" — подумал я, вспомнив невольно письмо ко мне Летищева.

Проехав немного, ямщик мой сказал: "А вот и Никольское!" — и указал мне кнутовищем на небольшую деревеньку, вправо от дороги, расположенную на совершенно ровном месте, на самом припеке, и не защищенную ни одним деревцем от солнца. При взгляде на эту кучку почерневшего и полусгнившего леса, с закопченной соломой наверху, мной овладело тоскливое чувство.

Барский дом, длинный и неуклюжий, в один этаж, с мезонином в середине с полукруглым окном, выкрашенный темно-желтой краской, с зелеными ставнями и красной крышей, стоял несколько в стороне от деревни, окруженный службами и покривившимся некрашеным решетчатым забором, перед небольшим прудом, поросшим осокой и с одного края подернутым плесенью. Перед домом и за домом несколько тоненьких моло-

дых полужасохших деревьев, а несколько в стороне от дома значительное пространство срубленного леса.

Вот каково было Никольское в действительности.

Подъезжая к дому, я увидел у подъезда двух безобразных алебастровых львов, более похожих на собак, вроде тех, которые украшают ворота московских домов. На середине двора, перед подъездом, торчала клумба с длинными синими цветами, перемешанными с другими, имевшими вид желтых пуговок.

"Где же эти розы величиною с пионы?" — подумал я.

Наконец лошади остановились у подъезда. Я вылез из тарантаса и осмотрелся кругом: у одного из флигелей стоял какой-то мальчишка в грязной рубашонке, с вымазанным лицом и смотрел на меня, зевая; кроме этого мальчишки и петуха, разрывавшего землю в клумбе и от времени до времени гордо приподнимавшего свою головку с хохлом и подергивавшего ее в сторону, на дворе не было ни души человеческой. Когда я поднял ногу на ступеньку подъезда, из ближайшего к

подъезду окна высунулась какая-то растрепанная и старая женская фигура и тотчас же спряталась. Я отворил дверь. В передней на прилавке лежал лакей, спавший богатырским сном и храпевший с каким-то особенным треском. Я растолкал его. Он вскочил, протер глаза и начал тупо смотреть на меня сквозь невольню и снова опускавшиеся веки, принимая меня, вероятно, за продолжение своего сна. Я насилу мог растолковать ему, что я приезжий гость, приятель его барина.

— Где же твой барин? веди меня к нему.

— Барин?.. Николай Андреич? — спрашивал он с расстановками, — вам Николая Андреича надо?.. Николай Андреич почивают.

— Все равно. Веди меня к нему.

Лакей почесался, зевнул, еще раз взглянул на меня и сказал:

— Пожалуй. Ступайте за мной.

И привел меня в комнату, стены которой были увешаны старинными граведоновскими раскрашенными женскими головками, некогда украшавшими все столичные кабинеты и потом перешедшими в провинцию. В простенке стоял стол, а на столе чернильни-

ца, разные письменные принадлежности, да герротипный женский портрет и книжка какого-то романа Пиго Лебрёня в старинном переплете — все покрытое густою пылью. Шторы в комнате были опущены, а на большом кожаном диване лежал навзничь сам барин, покрытый халатом, который сбился к его ногам, с расстегнутым воротом рубашки, из-за которой виднелась широкая грудь, заросшая густыми волосами. Грудь и живот, возвышавшийся горою, мерно колыхались от его тяжелого дыхания, оживленного небольшим носовым свистом. Рот его был полураскрыт; пот выступал на лбу крупными каплями. У головы его, на полу, лежал чубук и несколько в стороне трубка с рассыпавшимся около нее пеплом. Эта груда волновавшегося тела представляла неприятное зрелище. У меня даже дрожь пробежала при мысли, во что превратился этот некогда хорошенький мальчик, бывший в пансионе моим образцом и пленивший своими изящными манерами мою маменьку.

Я разбудил его. Он сначала тяжело приподнял отекавшие веки, спокойно и бессмысленно

взглянул на меня сонными глазами, потом вдруг вскрикнул, как будто испуганный видением, и начал приподниматься с дивана, опираясь на ладони рук и дико смотря на меня. Наконец он совсем пришел в себя и бросился обнимать меня.

Я нашел в нем большую перемену: он весь как-то обвис и опустился, волосы его на висках совсем поседели, на лице показались морщины. Но румянец все еще играл на щеках, или, может, это было только со сна.

— Я сдержал свое слово, — сказал я. — Ты, верно, не ждал меня?

— Никак! никак! — повторял он в некотором замешательстве, — признаюсь тебе, это такой сюрприз для меня... Как будет рада жена!.. Просто подарил, утешил, душенька!.. Только вот что обидно: ты застаешь-то нас врасплох. Ведь с нами случилось, братец, величайшее несчастье... ты ничего не слыхал? Мы прежде жили в другом моем имении, неподалеку отсюда... там у меня и дом, и сад — все это было прелесть... и вообрази, все дотла сгорело, все начисто, хоть бы что-нибудь насмех осталось. Мы сами с женой едва

спаслись в том, в чем были... Такое несчастье! Ты можешь себе представить, это меня ужасно расстроило... И загорелось от поганой папироски: кто-то бросил на ковер папироску; а у меня на парадной лестнице разостланы были ковры во всю ширину. Ковер-то тлел, тлел, да вдруг как вспыхнет, и весь дом загорелся, как свеча. Все мои саксы погибли, вся женина библиотека, старинные дорогие вещи, белье, платья, посуда, — ну, словом, все, все дочи-ста... Вот, братец, мы и поселились поневоле в этой деревушке и в этом скверном домишке на голом месте... и сами голые. Пуще всего мне жаль моих саксов и моего Перуджино: остальное все наживное, а уж этого, брат, ты знаешь, скоро не наживешь!.. Уж ты, душенька, извини нас, если мы не угостим тебя так, как бы желали. Что делать! Теперь чем бог послал. Да, пожалуйста, ты не говори ничего жене о пожаре. Она, братец, слышать до сих пор не может об этом несчастье; это ее так расстроило, что она все еще не в своей тарелке, все не очень здорова, похудела и изменилась ужасно: она у меня вообще нервическая, а с нервическими женщинами, mon cher, бе-

да: с ними надо иметь большую осторожность... Так не говори же ей об этом ни слова, пожалуйста, не проговорись.

Я успокоил его уверениями, и он принялся кричать:

— Трошка! Трошка! воды! умываться, одеваться!.. И потом опять обратился ко мне:

— Ты, братец, совсем в арапа превратился от нашего чернозема... Скорей воды!

Трошка!.. Я, братец, горю нетерпением представить тебя жене моей... Поди скажи барыне, что я, дескать, сейчас приведу к ней неожиданного дорогого гостя... Как я рад тебе! ты не поверишь, как рад! А знаешь ли, что мне взбрело в голову? Не послать ли за Скуляковым. Он сейчас прикатит, он тебе обрадуется — я знаю; вместе проведем время, вспомним старину...

— Я тебя только хотел просить об этом, — перебил я.

— Ну, и прекрасно!.. Трошка! Трошка! Трошка долго не являлся на крик барина.

Барин начал свистать, хлопать в ладоши, стучать ногой в пол, кричать: "Эге! эй, вы!" и проч. и взбудоражил своими криками весь

дом. Тогда не только Трошка, сбежалась вся дворня, тоже как будто со сна. Распоряжения о посылке экипажа за Скуляковым были сделаны. Мы умылись, оделись и отправились в гостиную. Сборная мебель в этой комнате была расставлена в умышленном беспорядке, так что почти проходу не было; на столе лежали какие-то книжки с картинками и стоял рыцарь в коротенькой кацавейке с капюшоном, с позолоченными ляжками и икрами и со вздернутыми кверху носками туфлей, державший на полке солнечную лампу; перед средним диваном разостлан был коврик, а по углам торчали какие-то засохшие растения. Во всем претензия и хвастовство при отсутствии средств, все напоказ для других, а не для себя, нигде уюта и удобства. В этом доме охватывала нового человека тоска и чувствовалось отсутствие жизни. В гостиной никого не было.

Летищев подошел к закрытой двери, которая, вероятно, вела на половину хозяйки, начал стучать в дверь и кричать:

— Душенька, душенька! я привел к тебе гостя... Слабый голос отвечал на этот крик:

— Сейчас...

В ожидании хозяйки я подошел к двери, выходящей в садик. В этом садике вместо деревьев торчали тоненькие палки с засохшими и скорчившимися на них листиками между кое-где прорывавшеюся зеленью. Против этой двери шла дорожка, усыпанная песком, упиравшаяся в некрашенный забор; а посредине ее стояла какая-то печальная фигура женщины с поднятою рукою, на пьедестале, который был закрыт цветами, повесившими головки.

Через несколько минут хозяйка дома вошла в комнату. Ей казалось на вид лет около тридцати. Черты лица ее были неправильны, но имели выражение симпатическое.

Густые и темные волосы, зачесанные гладко, но волнистые от природы, украшали ее болезненное лицо, в котором не было ни кровинки. В ее светло-карих небольших глазах выражались не то тоска, не то утомление, трудно было решить с первого взгляда. Эти глаза изредка вспыхивали, как я заметил потом, но не оживляясь, тусклым пламенем, как будто от внутренней боли, и опять потухали

через мгновение... Она казалась высока от страшной худобы, и во всей ее фигуре обнаруживалось по временам нервическое подергиванье, которое особенно было заметно в движении ее бледных и тонких пальцев.

Летищев, представляя меня, назвал своим первым другом. Затем начались обыкновенные в таких случаях расспросы: "Давно ли я приехал? надолго ли? жывал ли я прежде в деревне?" и прочее. Голос ее был необыкновенно слаб, она, говоря, как будто делала некоторое усилие, иногда останавливалась посредине фразы и глухо кашляла, приставляя платок к губам. Все это с первого раза поразило меня, возбудив участие к этой женщине, и отбило всякое снисхождение к моему товарищу.

Летищев отпускал беспрестанно неуместные шутки, хохотал от них сам во все горло и хвастал перед женою своими великосветскими знакомыми, беспрестанно предлагая мне вопросы о разных князьях и графах — наших товарищах и знакомых, которых он называл Васьками, Федьками, Сашками и так далее. Здесь, рядом с своею женою, в своей домаш-

ней жизни, он уже показался мне просто га-  
док, так что мне стоило величайших усилий  
скрывать это. Когда разговор прерывался, Ле-  
тищев спешил поддерживать его такого рода  
выходками:

— Ну, милый друг, скажи откровенно, вот  
при ней (он смотрел на меня и тыкал паль-  
цем на жену), находишь ли ты во мне способ-  
ность верно списывать портреты?..

Помнишь, братец, мое письмо к тебе о  
ней?.. Ну, вот теперь оригинал перед тобою:  
находишь сходство?

И потом обращался к ней по-французски:

— Я когда был еще женихом, так описывал  
ему тебя. Не думай, что я льстил тебе, ma  
chère, нет!.. с тех пор прошло, конечно, много  
времени, однако ты мало изменилась, ей-бо-  
гу, мало... немножко похудела и побледнела  
последнее время.

Бледность, впрочем, тебе к лицу.

И когда эту женщину начинало подерги-  
вать при таких выходках, он бросался к ней с  
участием и говорил, смотря ей прямо в глаза:

— Что это, душенька, ты, кажется, нехоро-  
шо себя чувствуешь? Ты приняла бы этих ка-

пель, что прописал тебе Карл Иванович...

Около обеда приехал Скуляков. Он так изменился, что если бы я встретился с ним где-нибудь случайно, я не узнал бы его с первого взгляда. Волосы его поседели, лицо вытянулось. Глаза были как будто менее косы; но эти глаза, несмотря на свою косину, имели привлекательность, потому что в них заметен был ум. Кротость и спокойствие, смешанные с грустью, выражались на этом лице, которое никак нельзя было назвать дурным. В его манерах, неловких и грубоватых, не было ничего ложного и искусственного. При нем становилось легче и веселее, хотя он ничего не говорил веселого; он вносил с собою одушевление, хотя сам был одушевлен редко и говорил мало. Только по своим манерам да по сжатию кулаков он напоминал мне прежнего Скулякова. Он встретил меня радушно, но без всяких восторгов.

Мне показалось, что хозяйка дома обрадовалась, когда он вошел; у нее даже на мгновение вспыхнул румянец, и она протянула ему руку с такою приятною улыбкою, которая еще более расположила меня к ней. Так улы-

баться могла только хорошая женщина.

Летищев обращался с Скуляковым с несколько покровительственным тоном, на что, по-видимому, Скуляков не обращал ни малейшего внимания. Когда мы с ним разговорились в первые минуты, вспоминая наше прошедшее, Летищев беспрестанно перебивал нас разными тупыми шуточками и восклицал, ударяя его по плечу и глядя на меня:

— Ну что, ведь такой же все чудак, как был в пансионе, не правда ли?.. А помнишь, как я на дуэль-то хотел его вызвать? Он меня не любил в пансионе, знаю.

Ну, что, дружок, хорошенького? — говорил он, хватая Скулякова за талию и как бы подсмеиваясь над ним. — Какие новости ты привез нам из своей Бологовки...

Долговки... черт знает! Я всегда путаюсь в имени твоей резиденции...

— Нового? — возразил Скуляков, — видишь, вон дождик пошел.

— Аа! слава богу, слава богу... Вот ты этой нашей радости не понимаешь, братец (он обратился ко мне); а мы с ним хозяева, владельцы поместьев: так нам это любо!.. Правда, Ва-

сий Васильич?

Крикливый и пронзительный голос Летищева раздавался беспрестанно. После приезда Скулякова он каждые пять минут повторял:

— Да скоро ли обедать? Давайте обедать.

И насилу дождался этой блаженной минуты. Обед был порядочный с обыкновенным столовым вином, которое он выдавал за лафит, и вызывал меня на похвалы каждому блюду, указывая притом на жену и повторяя:

— Это все она, она у меня хозяйка; несмотря на то, что занимается литературой вашей и разными серьезными предметами, а и хозяйственной частью не пренебрегает...

— Полно, пожалуйста, какая я хозяйка! — перебивала она умоляющим голосом.

— Ну, сделай милость! К чему излишняя скромность? — кричал Летищев. — Мы с ней во многом сходимся, — продолжал он, жуя, облизывая губы, прерывая слова глотаньем и глядя на меня, — только вот у нас с ней вечные споры насчет этой... терпеть ее не могу, проклятую... Жорж Санд... в этом мы никак сойтись не можем... Я просто отвращение, братец, чувствую к этим блумеристкам,

femmes émancipées. Женщина должна быть женщиной, по-моему.

Летищева не отвечала на это ни слова; но лицо ее приняло такое выражение, что мне хотелось броситься на ее супруга, приколотить его и зажать ему рот. Он сам заметил неприятное впечатление, произведенное на жену его последними словами, и произнес:

— Ну, полно, душечка, полно... я шучу.

Вечером, сидя на крылечке дома, выходявшем в так называемый садик, Летищев начал рассказывать нам, как он распространит этот сад, выроет в нем пруды, построит мостики, посадит деревьев.

— Все это примет надлежащий вид и будет очень мило... Право, душенька, — прибавил он, смотря на жену, — когда все это устроится и разрастется, ты мне скажешь спасибо, я уверен в этом.

— Я уж не увижу этого, — прошептала она.

— Опять!.. — Летищев вздрогнул при этом шепоте, и лицо его приняло боязливоплачевное выражение. — Что это ты, ma chère! — произнес он слезливо, поцеловал ее руку и сладко посмотрел ей в глаза.

Драма, развивавшаяся в этом доме, была заметна даже для глаз ненаблюдательных.

Всякий посторонний человек должен был чувствовать стеснение при виде этой жены и этого мужа.

Мне, по крайней мере, становилось нестерпимо тяжело, и я чрезвычайно обрадовался, когда на другой день вечером Скуляков предложил мне отправиться к нему в деревню. Летищев стал было противиться этому, хотел даже прибегнуть к насильственным мерам, отдав приказание своему Трошке, чтобы не смели закладывать моего тарантаса. Я отговаривался делами, желанием побывать у Скулякова и наконец-таки настоял на своем. Мы простились с хозяевами часов около восьми вечера. Тарантас мой отправился вперед, а мы с Скуляковым пошли пешком. Летищев проводил нас с полверсты, пыхтя и задыхаясь, обнял меня на прощанье, расцеловал и даже разрюмился... Когда он исчез из виду, мне стало легче, и это ощущение все постепенно усиливалось по мере того, как мы удалялись от Никольского.

Вечер был чудесный. Все воскресло и ожи-

вилось после дождя, который шел ночью и в полдень. Воздух был пропитан приятною влажностью. По очистившемуся небу проходили легкие волокнистые облака, принимавшие различные тоны и краски. Вся тяжесть спала с души моей, когда охватили меня простор полей и безмолвие вечера.

Я жадно впивал в себя благоуханные испарения земли и трав; я с наслаждением, которого давно не испытывал, смотрел на розовые, как будто таявшие в лазури облака, на мошек, которые тучами вились перед нами. Мне было приятно, что мы только двое в этом просторе, что ни души не было окрест и никакого признака человеческого жилья... С каждым шагом нашим вперед местность становилась холмистее и разнообразнее. Мы спустились под гору, перешли через мостик, перекинутый через небольшую речку, повертели направо по ее берегу и потом взяли влево к дубовой роще, которая вся облита была огнем заката и сквозила золотом.

Мы во все время ни слова не сказали друг другу: нам не приходило в голову занимать друг друга, и когда, выходя из рощи, Скуляков

первый произнес: "Ну, вот и моя деревушка!", я даже вздрогнул от его голоса после этой тишины. Роща отделялась от деревни глубоким оврагом, заросшим кустами и деревьями. Деревья эти переходили на другой берег к задам изб. Домик из двух срубов, в котором жил Скуляков, совсем новенький, из толстого и прочного леса, ничем не обшитого, стоял почти у самого берега оврага и отличался только от других изб своей величиною да тесовой крышей, выкрашенной красной краской. Домик этот поставлен был наравне с другими избами и отделялся от них, как каждая изба от другой, только невысоким плетнем.

Здесь не было и признака того, что называется барской усадьбой. После смерти матери Скуляков сломал старый, полусгнивший барский дом, а землю из-под усадьбы отдал своим крестьянам. Новый домик его, прикрытый с задней стороны леском, выходил, как вся деревня, передним фасом на дорогу, за которой до самого горизонта тянулись холмистые пажити, прерываемые шероховатыми пространствами срубленного леса, с остатками вывороченных пней, грудями хвороста и

уродливо торчавших корней... Влево чуть виднелась колокольня какого-то села.

Мы поднялись по лесенке под навесом и вошли в дом.

Он состоял из четырех комнат с оштукатуренными и выбеленными стенами. Старинная кожаная мебель с гвоздиками, оставшаяся ему после матери, была перемешана в этих комнатах с прочною, но грубою мебелью домашнего столяра. Сидеть и лежать на этих диванах и стульях было с непривычки жестковато. Когда мы уселись, чтобы отдохнуть, Скуляков сказал мне:

— Извини, у меня нет мягкой мебели. Я сам вырублен грубо из простого дерева, так завел и мебель по себе.

Стены комнат его были голые: в них не было никаких украшений, ничего бесполезного. Шкап с книгами и токарный станок стояли в первой комнате, служившей ему кабинетом. Над постелью в следующей комнате висели два ружья; в комнате, где он обедал, расставлены были на простых деревянных полках самовар и разные хозяйственные принадлежности. Везде было светло и чисто. Вся дворня

Скулякова заключалась в одном человеке, который был вместе его камердинером и поваром. Скуляков велел поставить самовар.

— А здесь душно, — сказал он, — пойдем-ка лучше посидим на вольном воздухе. Я не привык к комнатному, мне в четырех стенах неловко; а нам чай принесут туда. Я с охотой принял его приглашение, и мы уселись на скамейке перед домом.

Наступали сумерки; заря догорала; облака бледнели и тускли; на темневшем небе местами показывались звездочки; пар начинал подниматься над полями, и тени ложились на росистую землю все шире и шире.

Нам принесли чай, и я закурил сигару.

— Как у тебя хорошо здесь! — сказал я. — Я завидую твоей простой, неизуродованной жизни... Вот какую я всегда воображал деревню...

Он улыбнулся.

— Да вольно же вам уродовать свою жизнь! — заметил он и произнес после минуты молчания: — нет, это ведь тебе так кажется... Два-три дня ты проживешь здесь с удовольствием — я поверю, — а потом начнешь

скупать. Вы люди избалованные; вам просто-та нравится, как диковинка; вы ухе сложились, господа, не так; вы и в деревню вносите с собой ваши затеи и прихоти и портите ее... Нет, что ни толкуй, ты долго не выдержал бы здесь. Это так только ты увлекаешься деревней в первую минуту...

— Не всякой же деревней, — отвечал я, — вот в деревне Летищева, например, я ни за что бы не согласился жить... А он погорел, бедный?

— Как погорел?

Я начал было передавать рассказ Летищева о пожаре, но Скуляков не дослушал меня и перебил:

— Это ложь, глупая и бесстыдная ложь. Этот человек весь изолгался. Никакой такой деревни и ничего подобного у него никогда не существовало... Он совсем разорен, а все еще нос поднимает; хочет корчить богатого; да теперь у нас не найдешь в целой губернии такого дурака, которого он мог бы надуть, — а их довольно у нас. Он потерял всякий стыд, всякую совесть, крестьян разорил в прах, все обобрал у них, хлеб запродает на корню раз-

ным лицам в одно время и берет с них задатки. Для этих проделок он нарочно ездит в Москву, потому что здесь с ним никто дела не хочет иметь. В прошлом году продал он на сруб отличную дубовую рощу, которая росла у него за домом; теперь только одни пни торчат. Должен всем кругом и на заемные письма и на честное слово; везде запаковал себе дорогу; все бегут от него, — а он себе как ни в чем не бывало ходит гоголем, орет, хохочет, лезет ко всем; в карты садится с незнакомыми, выигрывает — берет, проигрывает — не платит... Э, да всех проделок его и не пересчитаешь!.. Пусть бы губил себя... черт с ним!.. а он загубил...

Скуляков не договорил и замолчал.

— Жена его... — начал я после минуты молчания, — это, по всему видно, отличная женщина... Но на нее смотреть тяжело... Она, кажется, еле дышит...

Неужели же она вышла за него по любви?

— Ее полумертвую притащили под венец — вот по какой любви! — прервал меня Скуляков, вспыхнув, — маменька промоталась из барского тщеславия и хотела попра-

вить дочерним браком свои делишки, а Летищев деньгами жены хотел поправить свои. Оказалось, что ни у той, ни у другого ничего не было: теща надула зятя, зять надул тещу... И какие были между ними сцены после этого брака!.. Нет! лучше уж об этом и не вспоминать. Маменька умерла: ее барская спесь не перенесла того, когда она узнала, что ее афера не удалась. Кабы одно несчастье дочери, это бы еще ничего: пусть бы дочь чахла — только бы с деньгами, которые бы она у нее обирала: тогда бы маменька до сих пор благоденствовала... И рождаются же у таких матерей такие дочери! Я знал жену Летищева еще девочкой: это было чудесное, необыкновенное дитя. С ранних лет она обнаружила прямоту, твердость и благородство, и несмотря на то, что мать употребляла все усилия, чтобы изуродовать и исказить ее, она не успела в этом. Воспитание ей давали самое пустое, самое внешнее, для блеска; денег на нее не щадили, за границу возили, и все из того, чтобы сделать из нее бездушную светскую куклу, — ничего не взяло: она сама себя перевоспитала. Натура-то, значит, настоящая!.. И чего она только

не перенесла, бедняжка! один бог знает... Первую минуту, как ей объявили, что она должна быть непременно его женою, она не могла перенести этой мысли и чуть было не посягнула на жизнь: она хотела утопиться; за ней следили, ее спасли...

Лучше бы, кажется, было не спасать!.. Потом маменька, убедясь, что угрозой с ней ничего не сделаешь, притворилась умирающей, убитою, несчастною, призвала на помощь все свое лицемерие и всю свою хитрость. Делать было нечего. Вышла она замуж:... думала покориться обстоятельствам, но когда разглядела поближе своего мужа... ах, страшно вспоминать!.. я был невольный свидетель всего этого... вся природа ее возмутилась против этого человека, она почувствовала к нему непреодолимое отвращение: его голос, звук его шагов в соседний комнате приводили ее в содрогание... Она все это подавляла в себе, скрывала; да иногда сил не хватало: упадет, бывало, без чувств и валяется в судорогах по полу; а он ничего не понимает, бегаёт около нее в отчаянии, плачет, молится, крестится, ладонку ей свою на грудь вешает, суёт ей

спирт под нос, обливает голову холодной водой...

Она очнется, взглянет, да как увидит его перед собою — еще хуже... Когда все это пройдет, она убежит в свою комнату и спрячет голову под подушку; а он за ней — это раз было при мне, начинает хныкать, кричать: "Взгляни на меня... Что с тобой, Сашенька? Я тебя, — говорит, — люблю больше жизни, а ты меня не любишь... Я, — говорит, — несчастный!" — бьет себя в грудь, валяется у нее в ногах, целует ее ноги... Он ведь не злой, сердце у него доброе... и нельзя сказать, чтобы совсем был глуп, а легкомыслие и мелочность довели его до совершенной глупости и превратили в зловреднейшего человека. Такого рода добрые сердца во сто раз хуже злых!.. Теперь уж он не пристает к ней так, как первое время: он, мне кажется, догадывается, что она его переносить не может, да боится в этом сознаться самому себе и обольщает себя уверениями, что ему это так кажется. Он боится действительности, как огня, он не живет действительною жизнью, а пребывает все в каких-то глупых фантазиях, которые довели его до совершен-

ного нравственного расслабления... У нее прекратились обмороки и припадки, потому что у нее жизнь прекращается. Теперь у нее только вздрагиванья да замиранья в сердце.

Скуляков махнул рукой и отвернулся.

— Дай бог только, — продолжал он, — чтобы ей дали умереть спокойно; а то я начинаю бояться, что и этого не будет. Не сегодня-завтра земский суд нахлынет к нему, опишут все. Дворянство против него озлоблено, и поделом: он последнее время такую скверную штуку сделал... Впрочем, хорошо и дворянство, выбирающее такого рода людей!

Мы проговорили с ним чуть не до рассвета.

Я пробыл у Скулякова три дня, которые останутся навсегда самыми чистыми воспоминаниями в моей жизни. Ниоткуда не выезжал я с таким сожалением и ни с кем не расставался с такою грустью.

С месяц назад тому я получил от него следующее письмо:

"Обстоятельства заставляют меня прибегнуть к тебе с покорнейшею просьбою. Мне невозможно оставаться в деревне, и я решил-

ся переехать в Петербург, а для того, чтобы иметь средства к существованию, должен посвятить себя службе. У тебя много знакомых: не приищешь ли ты через них какого-нибудь местечка для меня? Тебе известно, что я довольствуюсь малым и честно исполняю обязанности, которые беру на себя. Для меня дом прежде всего. Выручи меня, бога ради, отсюда. Я здесь оставаться не могу. Чем скорей, тем лучше. Ты этим меня крайне обяжешь... Жена Летищева умерла".

На днях я узнал, что незадолго до ее смерти земские власти должны были приступить к списыванию движимого имущества Летищева. Скуляков предупредил это.

Он отдал весь свой маленький капитал Летищеву, — не для того, чтобы спасти его от неизбежного позора, но для того, чтобы дать ей умереть спокойно.

# ХЛЫЩ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (DE LA HAUTE ECOLE)

## Вместо вступления

Я хочу изобразить... чуть было не сказал воспеть, потому что предмет достоин поэмы, — самого утонченного и безукоризненного из всех хлыщей — хлыща высшей школы (de la haute école), перед которым мой великосветский хлыщ должен показаться жалким, неуклюжим и грубым, потому что между ним и хлыщом высшей школы почти такая же разница, какая между простым, хотя и породистым пуделем, бегающим по улице, и тем изящным пуделем высшей школы, развившимся под ученым руководством г. Эдвардса, который показывается в цирке г-жи Лорры Бассен и Комп.

Если бы все в мире лошади, собаки, люди, насекомые проходили чрез высшую школу — боже мой! в какую изящную, утонченную игрушку превратился бы тогда мир, но, к несчастью мира, не все одинаково способны под-

вергаться этой школе. И странно! всех неспособнее и непокорнее в этом случае — человек — существо разумное. Его иногда труднее вышколить, чем какую-нибудь блоху — это едва заметное, неуловимое и неразумное насекомое; но зато когда человек оказывается способным пройти через высшую школу — он становится прекрасен, велик, — и все шавки, пудели, лошади и блохи высшей школы бледнеют и уничтожаются перед ним!..

Если бы какой-нибудь предприимчивый и почтенный господин, вроде г. Барнума, вздумал вместо ученых собак, блох, лошадей, девиц-альбиносок, сирен и Том-Пусов развозить на удивление Старого и Нового Света любопытнейшие и отборнейшие сорта хлыщей, этот новый и оригинальный род промышленности доставил бы ему, я убежден в этом, колоссальное богатство. Нет сомнения, что особенную выгоду могли бы, в этом случае, представлять хлыщи высшей школы. На их изящнейшие манеры, на их утонченную выправку, на их бесподобную недоступность и исполненную чудной грации величавость стекались бы смотреть миллионы народа, пото-

му что народ вообще падок на все великолепные зрелища, любит глазеть на все высшее, на все выходящее изпод обыкновенного уровня.

Я желал бы вывести перед любознательной публикой моего хлыща высшей школы во всем его блеске и красоте — так, как выставляют девиц-альбиносок, великанов и другие чудные явления природы, поставить его на вертящиеся подмости, устланные бархатом или мокетом и уставленные бананами и другими тропическими растениями, и, тихо повертывая подмости, доставить почтенным посетителям случай в подробности рассмотреть его со всех сторон. Но, увы! это невозможно. Такие совершенные создания, к каким принадлежит мой настоящий хлыщ, не отдадут себя напрокат, как это случается с хлыщами другого рода, — и для того, чтобы дать понятие о нем, я поневоле должен прибегнуть просто к его описанию, чувствуя заранее, что предлагаемый поверхностный снимок не передаст и десятой доли тех красот и совершенств, которыми обладает несравненный оригинал.

Если вы, мой читатель, принадлежите к жителям Петербурга, вам, вероятно, случилось встречать в театре, в клубе (разумеется, Английском), на улицах или в салонах (если вы ездите в большой свет) высокого, полного, средних лет господина, держащего себя очень прямо, одетого с изящною и строгою простотою, без всяких изысканных и бросающихся в глаза украшений и нововведений: без стеклышек, английских проборов и тому подобного, с движениями медленно-важными, с взглядами вечно холодными и даже несколько суровыми, с лицом неподвижным, но проникнутым высоким сознанием своего превосходства, на котором появляется только легкая тень приятной улыбки, когда господин этот заговаривает с значительным лицом или когда значительное лицо с ним заговаривает... Вы, верно, заметили, что не только его бесстрастно-прекрасное лицо, но даже его туловище, шея, ноги и руки — все одинаково проникнуто сознанием своих совершенств; что он поворачивает шею только в самых важ-

ных обстоятельствах, только тогда, когда очень значительное лицо обращается к нему или он обращается к очень значительному лицу; что он протягивает руку только избраннейшим из избранных; что он ходит так, как будто делает честь тротуару или паркету, к которому прикасается... Если вы видели такого господина — то вы уже имеете некоторое понятие о наружности моего хлыща высшей школы. Его монументальная и торжественная фигура даже напоминает несколько Командора в "Дон-Жуане"...

Не подумайте, мой провинциальный читатель, чтобы я преувеличивал перед вами совершенства моего героя — из благоговейного уважения к нему. (Я употребляю возвышенное слово герой, вышедшее ныне из употребления, потому что говорю о возвышенном предмете.) Какое преувеличение, помилуйте!.. я ссылаюсь на весь великосветский Петербург... Все, имеющие счастье пользоваться знакомством его, подтвердят вам, что он ведет себя с такою безукоризненностию, с какою может только вести себя господин, прошедший чрез все искусства высшей школы. Ни-

кто и никогда не видел его ни на улице, ни в театре, ни в клубе с человеком, не принадлежащим к высшему свету, с inconnu; никто и никогда не видал его смеющимся, он позволяет себе только слегка улыбаться в известных случаях, как замечено выше; никто и никогда не видел его удивляющимся, — он ничему не удивляется, как все люди безукоризненного тона; никто и никогда не заметил, чтобы в разговоре он возвышал или понижал голос, — он говорит плавно, ровно, спокойно, и каждое слово, вылетающее из уст его, должно, кажется, осчастливить того, к кому относится; никто и никогда не видал его аплодирующим в театре, потому что аплодируют люди увлекающиеся, то есть люди плохо вышколенные или просто люди дурного тона. Даже и в такие исключительные минуты, когда, бывало, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона, и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою, — даже и тогда он оставался в своем обыкновенном, бесподобном и величавом

равнодушии.

Надобно видеть, с какою почтительною ловкостью, тихо, не суетясь, его изящная прислуга подает ему шинель или пальто, когда он выезжает из дома; с каким благоговением провожает его гордый и толстый швейцар и усаживает в сани; с каким глубоким уважением капельдинер, кланяясь, отворяет ему дверь его абонированной ложи; как увивается около него дворецкий Английского клуба в тот день, когда он кушает в клубе. Но все эти знаки почтения, благоговения, подобострастия пропадают даром. Он, кажется, не подозревает о существовании на свете лакеев, швейцаров, капельдинеров, дворецких и прочего и полагает, что все является и отворяется перед ним, все снимается с него и надевается на него по мановению волшебного жезла. Один только раз он чуть-чуть повел глазом на своего лакея, у которого белый галстух был несколько измят и имел не совсем свежий вид, и, обратясь к своему мажордому, произнес строго-спокойным голосом: "Чтоб этого сегодня же не было здесь..." В клуб герой мой приезжает обыкновенно позже всех и садится

за особенный стол...

За обедом он кажется еще прекраснее. Он кушает с большим аппетитом, но не обнаруживает его ни взглядами, ни движениями, как люди грубые и дурно воспитанные; вино, кажется, он не пьет, а только вдыхает в себя его аромат, хотя его бутылка опорожняется к концу обеда так же, как и у других, которые просто пьют. После обеда он садится за карты и играет по большой и с людьми значительными. Он к картам не имеет особенной страсти (да и вообще он не имеет никаких страстей, потому что страстями одержимы только люди вульгарные), а играет по расчету, для поддержания своих связей и значения, сохраняя постоянно величавое равнодушие и спокойствие при выигрыше и при проигрыше... Но виноват, — я, кажется, увлекаюсь моим героем, забегаю немного вперед и заранее прошу у читателя извинения только за небольшое отступление по поводу карт. Я не могу на минуту не остановиться на этом предмете. Карты вещь очень серьезная. Если вы не умеете играть в карты, мой благосклонный читатель, учитесь, учитесь скорей, не теряя време-

ни. Посредством карт в Петербурге (я не знаю, как в других европейских столицах) завязываются наитеснейшие связи, приобретаются значительные знакомства, упрочивается теснейшая дружба и, что важнее всего, получают выгоднейшие места. Приобретя опыт жизни, я очень сожалею теперь, что не посвятил себя в начале моего поприща изучению ералаша, преферанса с табелькой, пикета и палок. Кто знает, по примеру многих других, я через карты легко мог бы сделать прекрасную карьеру, и вместо того чтобы подвизаться на неблагоприятном и скользком литературном поприще, я уже пользовался бы теперь значением, имел бы приличный моим летам чин, был бы окружен подчиненными, смотрящими мне в глаза, распоряжался бы участью нескольких сот подведомственных мне людей (что очень приятно) и преследовал бы всех сатирических писателей, которые раскрывают, как говорит Гоголь, "наши общественные раны"... Однако все это нейдет к делу, и мне давно пора сказать, какое общественное положение занимает мой утонченный герой в свете, и познакомить любозна-

тельных читателей с его биографией.

## II

Он сын очень почетного отца, который умом, трудолюбием и, как прибавляют люди злоязычные, вкрадчивостью и лицемерием сам проложил себе блистательную карьеру.

Почтенный родитель прозывался Белогривовым, от села Белые Гривы, в котором родился, и оттого еще, может быть, что волосы его в детстве были белы, как лен.

Это прозвище так и осталось за ним, и никто, конечно, не подозревал, что со временем оно обратится в громкую и блестящую фамилию. В летах отрочества он бегал еще по деревне в затрапезном халате, а в сорок пять лет пользовался уже значением в Петербурге и вступил в брак с девицею довольно известной дворянской фамилии, за которую взял 500 душ. На шестидесятилетнем возрасте он достиг всего, к чему с такой жадностью стремятся люди: чинов, окладов, почета, уважения, связей. В Новый год и светлый праздник столы его были завалены визитными карточ-

ками с самыми блестящими именами, а в передней лежали груды листов, исписанных посетителями. В домашней жизни бог также благословил его. Супруга его была дама очень привлекательной наружности и приятных форм, кроме того, обладала замечательными нравственными достоинствами: характером твердым и решительным, вследствие которого держала бразды домашнего правления очень туго, и глубочайшим знанием светского такта и всех мелочных светских обычаев и привычек. Ее любовь к супругу и заботливость о нем не имели границ: она сама распорядилась всеми его деньгами; сама разбирала отчеты по имению; сама назначала ему камердинеров и сменяла их по своему произволу; сама ежедневно клала в его бумажник известную сумму денег; приказывала, каких лошадей закладывать в его карету; безусловно распорядилась постоянно находившимся при нем курьером, — и один взгляд генеральши имел силы несравненно более, чем слово генерала, повторенное десять раз... "Друг мой, — говорила она с чувством супругу, — ты слишком занят важными государственными

делами, и я не допущу тебя входить ни в какие домашние дразги. Это уж мое дело". Дети (им бог даровал двух прелестных малюток — мальчика и девочку) развивались также под ее исключительным и неусыпным наблюдением.

Нежная и любящая мать в мыслях своих готовила для них блистательную будущность и все воспитание их направила на то, чтобы сделать их безукоризненными в светском отношении. Им предстояла важная обязанность, высокий долг поддерживать честь и славу рода Белогривовых.

В характере этих детей, с самого раннего детства, обнаружилась резкая разница.

Виктор, любимец матери и герой этого рассказа, был истинным утешением родителей.

Его называли необыкновенным ребенком, и он был действительно необыкновенный ребенок, потому что, к удивлению взрослых, не кричал, не шалил и не резвился, как обыкновенные дети. Прекрасный, румяный и полный малюток во всем обнаруживал что-то вроде рассудительности, сдержанности и как будто чувства собственного достоинства. Он

входил в комнату, раскланивался, танцевал, играл в куклы, говорил с другими детьми и даже катал обруч по дорожке сада с серьезностью и важностью, приводившею в восторг не только его родителей, но даже и посторонних.

Виктором все восхищались и все отзывались об нем с похвалою, исключая, впрочем, домашней прислуги, с которою он обращался, несмотря на свой нежный возраст, так повелительно и с таким пренебрежением, что маменька даже принуждена была останавливать его замечаниями, что с людьми надо быть повежливее. Но, останавливая его, она в то же время думала с тайным удовольствием и гордостью, что так рано обнаруживающееся в нем отвращение ко всему низшему — признак благородной крови Балахиных, которая течет в его жилах (генеральша была урожденная Балахина). Лакеи и горничные, не принимая этого в соображение, смотрели на барчонка с совершенно другой точки зрения и так отзывались о нем:

*"Вишь, щенок, еще чуть от земли видно, еще молоко на губах не обсохло, а*

*туда же, как большой, хорохорится и горло дерет".*

Сестра Виктора, Сонечка, была девочка худенькая, бледная, слабая здоровьем и ничем особенным не отличавшаяся от других детей. Она, в противоположность своему брату, пользовалась большим благоволением всей дворни за свою доброту и мягкость, которые выражались в ее бледных карих глазах и во всех чертах ее привлекательной белокурой головки. Но зато Сонечка, несмотря на то, что была старше брата двумя годами, не умела вести себя с достоинством, не имела того такта, которым так изумительно владел Виктор чуть не с колыбели; она была одинаково приветлива и радушна с маленькой княжной Мери, своей сверстницей, и с Катюшкой, дочерью ключницы. Ни попечительная мать, с тайным сокрушением смотревшая на нее, ни неподвижная мисс Генриетта, ее гувернантка, воспитывавшая некогда, по ее словам, мисс Арабеллу, дочь какого-то лорда, и исполненная самых аристократических претензий, не могли внушить Сонечке того чувства гордого сознания, которое бесспорно должно бы-

ло одушевлять девушку, — дочь отца, так высоко стоявшего на ступенях общественных почестей, девушку, предназначенную для высшего света... Кровь Балахиных еще молчала в ней.

Однажды на даче, гуляя с мисс Генриеттой, Сонечка (ей было уже в это время лет тринадцать) повстречала нищую, хорошенькую девочку лет восьми, в лохмотьях, которые едва прикрывали ее. Девочка эта очень понравилась Сонечке, которая остановила ее, с участием расспрашивала — откуда она и кто она? и сказала ей, чтобы она зашла к ним на дачу. Бедная девочка эта целый день не выходила у нее из головы, даже снилась ей ночью. На следующее утро она не отходила от окна, поджидая ее, и когда та явилась, Сонечка чуть не вскрикнула от радости, побежала ей навстречу и тихонько провела ее в свою комнату. Она надарила ей разных вещей и так растрогала девочку своею добротою и ласкою, что та со слезами бросилась к ней и схватила ее руку, чтобы поцеловать; но Сонечка отдернула руку и поцеловала девочку... В минуту этого поцелуя на пороге двери появилась

строгая и неподвижная мисс Генриетта. Такое зрелище привело бывшую воспитательницу дочери лорда в страшное негодование... Она приказала сейчас нищей выйти вон и, обратясь к своей воспитаннице, прочла ей длинное, строгое и красноречивое наставление, мысль которого заключалась в том, что хотя благотворительность — дело похвальное и хотя помогать бедным должно, но водить к себе в комнату нищих, обниматься и целоваться с ними девушке столь высокого происхождения неприлично и непростительно. Мисс Генриетта ссылалась на свою бывшую воспитанницу, мисс Арабеллу, умевшую всегда соединять похвальные движения сердца с чувством своего аристократического достоинства, и наконец привела Сонечке в пример ее собственного брата, который, несмотря на то, что моложе ее, мог уже служить для нее во всех отношениях образцом. Сонечке постоянно все беспрестанно ставили в пример брата; она не могла не видеть, что вся нежность родителей была обращена к нему, и, несмотря на это, ни малейшее чувство зависти не смущало ее. Она чувствовала к нему самую неж-

ную привязанность с детства.

До пятнадцати лет она обнаруживала характер очень восприимчивый, общительный, живой и пылкий. Она передавала брату все впечатления, ощущения и мысли, начавшие зарождаться в ней. Она искала в нем отзыва и сочувствия, но всякий раз после своих душевных признаний чувствовала какую-то внутреннюю неловкость.

Брат выслушивал ее спокойно и равнодушно, без всякого участия, и Сонечка объясняла это тем, что он не может еще понимать ее, потому что слишком молод.

Пылкость ее начинала, однако, охлаждаться с годами, может быть, вследствие болезненного состояния, которое усиливалось в ней вместе с ее ранним и быстрым нравственным развитием, на которое никто не обращал внимания. В восемнадцать лет у нее обнаружили такие грудные страдания, которые она, при всей своей терпеливости, не могла скрывать. Созван был консилиум. Доктора решили, что она имеет расположение к чахотке и что поэтому за ней необходимо иметь строгий медицинский надзор. Домаш-

ний доктор Белогривовых, очень важный господин, пользовавшийся в городе огромною репутациею и доверенностию, представил к ним в дом одного молодого доктора, который должен был, под его главным руководством, иметь постоянное наблюдение за ходом ее болезни. Молодой доктор начал ездить в дом Белогривовых всякий день. Он ухаживал за больною с необыкновенною заботливостию и вниманием, и через несколько времени она заметно стала поправляться. Доктор продолжал, однако, навещать ее так же часто. Он был человек образованный, большой поклонник Шекспира и Вальтера Скотта и, кроме того, страстный охотник до музыки. Он скоро сделался у Белогривовых почти домашним человеком. Генерал и генеральша оказывали ему большое внимание, видя его заботливость о больной; мисс Генриетта полюбила его за то, что он говорил с нею по-английски и декламировал наизусть монологи из «Гамлета» и «Отелло»; Софья Александровна (в это время никто уже не называл ее Сонечкой) обнаружила к нему также большую симпатию: она была тронута его участием и вниманием

к ней; притом его образование, ум и расположение к музыке — все это производило на нее сильное впечатление. У нее были очень замечательные музыкальные способности, и она играла на фортепьянах с большим вкусом, тонкостью и чувством. Доктор также играл на фортепьянах недурно, и они иногда вместе разучивали любимые пьесы. Она до того привыкла к доктору, что в тот день, когда он не приезжал, чувствовала, что ей как будто недостает чего-то.

На ее привязанность к нему, усиливавшуюся постепенно, не обращал никто внимания.

Генерал видался с детьми два раза в день: на минуту утром, когда они приходили с ним здороваться, и за обедом. Генеральша привыкла смотреть на доктора как на домашнего человека, как на своего дворецкого или на свою ключницу, и подозрение о привязанности к нему ее дочери не могло даже прийти ей в голову. К тому же она приняла доктора под особое свое покровительство, потому что он лечил даром всю генеральскую дворню.

Когда здоровье Софьи Александровны поправилось, ее вывезли в свет, но после двух

или трех балов болезненные припадки ее снова возобновились, — и эти выезды должны были прекратиться к ее величайшему удовольствию, потому что после каждого бала маменька, недовольная ею, делала ей очень жесткие выговоры и читала предлинные морали. Генеральша огорчена была тем, что появление в свет ее дочери не произвело того впечатления, какого она желала и могла надеяться. Выговоры эти обыкновенно оканчивались упреками, что на ее воспитание не щадили ничего, что на нее потратили тысячи и что она, несмотря на все внимание и заботливость об ней, не оправдывает ожидание родителей, и так далее.

Софья Александровна выслушивала эти упреки и выговоры молчаливо и переносила их с покорностью и твердостью. Иногда только, когда гнев ее маменьки, по какомунибудь незначительному поводу, выходил из пределов и раздражался оскорбительными и вовсе не светскими выходками (генеральша была горяча), Софья Александровна прибегала к брату и высказывала ему свое огорчение. Виктор Александрыч был в это время уже сту-

дентом. Он обыкновенно молча выслушивал ее и, с свойственной ему рассудительностью не по летам, говорил, что если маменька и не совсем справедлива в отношении к ней, оскорбляя ее некоторыми словами и замечаниями, которые бы, конечно, не следовало произносить, то, в сущности, она все-таки права, потому что желает ей добра, и беспрестанно твердил ей, как и маменька, о том, что ей необходимо выезжать чаще в свет.

После одного из таких объяснений с братом ей пришла в первый раз в голову мысль, что он человек холодный, без сердца. Как ни отгоняла она от себя этой мысли, но она неотвязчиво преследовала и мучила ее несколько дней. Софья Александровна старалась, впрочем, всячески оправдывать брата и уверяла себя, что эта мысль совершенно нелепая; что Виктор, напротив, имеет прекрасное сердце, порывы которого он только боится обнаружить, и что эту наружную холодность и недоступность он заимствовал от своего воспитателя, имевшего на него большое влияние, бездушного формалиста г. де Шардона, который был помешан на старой французской аристо-

кратии, разыгрывал какого-то маркиза и не признавал никаких авторитетов, кроме Лагарпа, Баттё, Буало и Генриха V. Она не принимала в соображение, что неподвижная и суровая мисс Генриетта не успела же задумать в ней, несмотря на все свои усилия, человеческие увлечения и порывы сердца.

Сваливая всю вину на г. де Шардона, Софья Александровна обыкновенно несколько успокаивалась. Несмотря на это, она перестала быть откровенной с братом.

Характер ее заметно изменялся, она становилась серьезнее, сосредоточеннее, начинала, кажется, чувствовать пустоту и холод блестящей среды, ее окружавшей, и свое одиночество. Единственный человек, которому иногда она высказывалась, был доктор.

Софье Александровне был уже двадцать один год. Здоровье ее было слабо, и поэтому выезжала она в свет редко. Маменька, глядя на нее, начинала приходить в беспокойство и помышлять, каким бы образом прилично устроить ее участь.

Виктор Александрыч, окончив между тем курс в университете, определился в мини-

стерство иностранных дел и в первый раз явился в свете на бале княгини Красносельской. На этом первом дебюте он имел счастье быть замеченным одной очень почетной старушкой, которая нашла, что он прекрасно держит себя: с тактом, с почтительностию к старшим и между тем с достоинством, и что многие молодые люди, гораздо поважнее его происхождением, могли бы брать с него пример...

Однажды, когда Виктор Александрыч сидел в своей комнате, только что окончив отделку своих ногтей и машинально перелистывая Готский альманах, свою любимую настольную книгу, мечтал о своих будущих успехах в свете, в комнату его вошла сестра. Ее бледное и болезненное лицо было бледнее обыкновенного, в ее глазах, почти всегда задумчивых и грустных, выражалась сила и энергия, тогда как в движениях и в походке была нерешительность и почти робость. По всему было заметно, что в душе Софьи Александровны совершалось что-то необыкновенное и что это посещение было не даром.

Виктор Александрыч слегка приподнял го-

лову, взглянув на сестру. Он не заметил в ней, однако, ничего особенного, слегка кивнул своей прекрасной головой и протянул к ней свою белую и полную руку, с искусно обделанными ногтями в форме миндалин.

Софья Александровна села возле него.

— Что скажешь? — произнес он, переворачивая страницы альманаха, который он не выпускал из рук...

— Я пришла с тобою поговорить об одном деле, — отвечала она, — об деле, которое касается до меня... Скажи мне искренно, любишь ли ты меня?

Виктор Александрыч взглянул на сестру, и нижняя губа его подернулась немного насмешливо.

— Что это за вопрос? Что с тобою?

— Я хочу убедиться в том, что ты меня любишь, мне это нужно потому, что я должна сообщить тебе... — Она остановилась. (Разговор их, надобно заметить, происходил на французском языке.) Виктор Александрыч еще взглянул на сестру, и в этот раз уж вопросительно.

— Я ничего не понимаю, — проговорил он

своим обыкновенным равнодушным тоном, не обращая внимания на ее волнение, — разве случилось что-нибудь особенное?

У Софьи Александровны на глазах показались слезы, она с минуту ничего не отвечала, но потом вдруг бросилась к брату, обняла его с увлечением и почти задыхающимся голосом сказала:

— Скажи мне, брат... принимаешь ли ты во мне участие?

— Что с тобой, однако? — спросил он с несколько озабоченным видом, оправляясь после этих неожиданных объятий.

Софья Александровна сказала ему, что она любит доктора...

При этом признании лицо Виктора Александрыча вспыхнуло, он вскочил со стула, выпрямился всем своим станом и даже несколько выгнулся и обзрел с ног до головы Софью Александровну...

— Что? Кого? — спросил он, не веря ушам своим. Она повторила свои слова твердым голосом.

Виктор Александрыч улыбнулся, заложил руку за жилет и произнес:

— Что за шутки! Это совсем не забавно.

Софья Александровна вспыхнула в свою очередь, оскорбленная этим замечанием, высказала ему с горячностью все, что было у нее на душе, и в заключение объявила, что она решилась выйти замуж за доктора.

Виктор Александрыч прошелся несколько раз по комнате, чтобы прийти в себя, и наконец остановился против сестры.

— Что с тобой, Sophie? Ты с ума сходишь, — произнес он в волнении, которое уж не мог скрыть при всей своей выдержанности, — откуда могли прийти к тебе такие мысли, такие дикие понятия? Ты забываешь, кто ты, какое имя носишь. Что может быть общего между тобою и каким-нибудь аптекарем или лекарем? Пожалуйста, приди в себя. Опомнись, одумайся. Ты хочешь нанести позор нашей фамилии, сделать нас городскою сказкою, ты хочешь убить батюшку и матушку. Это какое-то безумие, которое нельзя оправдать ничем. Благовоспитанной девушке даже во сне не могут прийти в голову такие мысли, такие понятия...

Виктор Александрыч остановился запы-

хавшись. Он никогда не говорил вдруг так много и с таким жаром.

— Я люблю его, я на все решилась, — произнесла она.

Лицо и глаза ее горели. На этом лице и в этих глазах выражалось что-то гордое и решительное. Это была уже не девочка, грустная, болезненная и застенчивая, но женщина с сознанием и силою воли.

— Решилась!.. — повторил Виктор Александрыч, не обращая на нее внимания, бледнея и закусив нижнюю губу, — это мне нравится! Что такое твое решение? у тебя отец и мать, у тебя брат, ты забываешь об них, кажется.

— Нет, я не забываю. Если в тебе есть хоть капля участия и сострадания ко мне, — я прошу тебя, брат, — будь посредником между мной, батюшкой и матушкой, ты имеешь влияние на них. Тебе легче...

— Посредником! — перебил Виктор Александрыч, — подумай же наконец, что ты хочешь делать... в чем? Но это неприличие, это безнравственность, это сумасшествие... И ты думаешь, что я буду посредником твоим у от-

ца и у матери, что у меня повернется язык сказать им, что ты любишь... Сделай одолжение, выкинь все это из головы. Серьезно говорить об этом нельзя, и мне досадно на себя, что я принял это серьезно. Дай мне слово, что ты весь этот вздор выкинешь из головы, — и что об этом никогда не будет более слова.

Софья Александровна с большим усилием над собою приняла наружность холодную и спокойную и отвечала:

— Хорошо, я подумаю, я только прошу тебя об одном, чтобы это покуда осталось между нами...

Когда она вышла, Виктор Александрыч не на шутку призадумался. Мысль, что его сестра может быть женою какого-то лекаря, привела его в негодование и ужас. Он живо вообразил все неизбежные последствия этого: язвительные улыбки его великосветских приятелей; тень, которую бросит этот безумный брак на их фамилию; оскорбительные для них толки и замечания по этому поводу высшего света; шум, который наделает в городе этот неслыханный скандал, и проч. При мысли что все это может сильно повредить его

светской и служебной карьере, дрожь пробежала по его телу и румянец исчез с его полных и пушистых щек. "Этого нельзя оставить так, — подумал он, — честь нашего дома в опасности, надо принять заранее меры и тотчас же предупредить об этом батюшку и матушку".

Виктор Александрыч отправился к родителям и имел долгое объяснение с ними, вследствие которого доктор уже не появлялся в их доме. С Софьей Александровной не было никаких объяснений, но генерал и генеральша стали обращаться с нею очень сухо и холодно. Виктор Александрыч избегал всяких столкновений и объяснений с сестрою. Так прошло около месяца...

В одно прекрасное весеннее утро в доме Белогризовых произошло неописанное смятение. Весь дом переполошился, начиная с самого генерала до последнего конюха. Генеральша лежала в обмороке; генерал совершенно потерялся; Виктор Александрыч вдруг так побледнел и осунулся, как будто только что встал с постели после болезни; люди совались без толку из угла в угол, как сумасшед-

шие; доктора перебежали от генеральши к генералу. Софья Александровна исчезла из родительского дома!.. Стоны, слезы, крики, рыдания, проклятия потрясали весь дом... Она бежала, покрыв стыдом и позором маститую седую голову заслуженного старика отца, всеми уважаемого, убив мать, которая с такою нежностью заботилась о ее воспитании. Ужасно!

Буря утишилась не скоро, да и могла ли она скоро утишиться? Истерики и крики сменялись вздохами, стонами, покачиванием голов, всхлипываниями и жалобами на судьбу.

Вдруг, в один день, генералу подали письмо. Он взглянул на конверт и изменился в лице. Письмо было от Софьи Александровны. В этом письме она объявляла о том, что она замужем, умоляла о прощении, просила благословения и прочее. Но генеральша не допустила генерала распечатать конверт, выхватила его из рук супруга и бросила в камин.

— У нас нет более дочери, — произнесла она торжественно, — а у тебя, мой друг, нет сестры, — прибавила она с рыданием, обращаясь к сыну и обнимая его, — чтобы в доме

никто и никогда не смел произносить ее имя, как будто бы она никогда не существовала!

Вскоре после этого неслыханного события генерал, который постоянно страдал сильною подагрой и в последнее время еле двигался от старости, занемог и скончался, оставив все, что имел, жене и сыну и ни слова не упомянув в духовном завещании о дочери. Генеральша, рыдая над его трупом, произнесла: "Это она его убийца! Она!" — Мое несчастное существование, — говорила она с нежностью сыну, — поддерживаешь один ты, — ты — моя гордость, ты — мое утешение! Без тебя мне ничего не оставалось бы, кроме могилы...

Но генеральше не суждено было долго наслаждаться и радоваться своею гордостью, своим действительно во всех отношениях безукоризненным сыном. Генеральша умерла в тифусе через полтора года после смерти своего супруга, а когда кто-то из ближних в минуту кончины осмелился ей напомнить о дочери, она прошептала: "У меня нет дочери". Это были ее последние слова.

Все решили, что Софья Александровна была убийцею отца и матери. На это нельзя да-

же было сделать никаких возражений, потому что в таком случае легко можно было прослыть за человека неблагонамеренного и безнравственного...

Таким образом, Виктор Александрыч, в двадцать с небольшим лет, сделался полным властелином самого себя и единственным наследником состояния, оставшегося после его родителей, которое состояло в 900 душах и в капитале, простиравшемся, говорят, до 200 000 рублей серебром.

### III

В то время как великосветские товарищи и сверстники Виктора Александрыча, все более или менее еще зависевшие от своих родителей, предавались, несмотря на это, с излишеством всем увлечениям и безумствам молодости, всем соблазнам, которые представляет большой город: вступали в клику театралов, волочились за танцовщицами, мерзли у театральных подъездов, провожали линии, тридцать раз в утро на рысаках и на парах с пристяжными проезжали по так называемой "Улице любви", мимо окон, из которых украд-

кою выглядывали их возлюбленные; подымали гвалт вечером в театральной зале, когда их богини, порхая, появлялись на сцене; бросали деньги на вино и женщин; делали долги, занимая сто на сто; целые ночи просиживали за картами или за лото; пили у Фёльета до рассвета и хвастали тем, кто кого перепьет, и потом ночью, для забавы, скакали на тройках по улицам, останавливая бедных запоздалых пешеходов, придираясь к ним, обсыпая их мукой и сажей, или предавались каким-нибудь не менее остроумным занятиям и, к величайшему огорчению своих блестящих родителей и родственников, совершенно пренебрегали светскими отношениями и условиями, — Виктор Александрыч, пользовавшийся полною, безграничною свободою, вел такой образ жизни, которому мог позавидовать даже человек перебесившийся и остепенившийся, зрелых лет, несмотря на все свое благоразумие, все-таки впадающий иногда в промахи, заблуждения и увлечения. Но несравненный герой мой, как уже мог заметить читатель, принадлежал к тому разряду людей, которые не имеют заблуждений и увлечений, то есть

не имеют молодости. В самом ребячестве он походил уже, как мы видели, на рассудительного и важного взрослого человека в миниатюре. Такие натуры многие обыкновенно обвиняют в сухости, в крайнем эгоизме и даже в жестокости, замечая, что люди, предающиеся в молодости самым неслыханным и непростительным буйствам, впоследствии еще могут сделаться настоящими людьми в полном и благородном значении этого слова, а что от людей, не знавших молодости, нельзя ждать ничего доброго. До какой степени справедливо такое мнение и кто прав — господа ли, так рассуждающие, или те почтенные особы, которые в противоположность этому мнению считали Виктора Александрыча образцом молодых людей и ставили его в пример своим детям, — я предоставляю решать читателям...

Виктор Александрыч после смерти родителей прежде всего озаботился о сооружении двух великолепных монументов из мрамора с бронзовыми фигурами и гербами на их могиле на кладбище Невского монастыря. Он в известные сроки после их кончины, как следует почтительному сыну, уважающему память

своих родителей, заказывал панихиды и сам присутствовал на них в глубоком трауре, который чрезвычайно шел к нему, резко оттеня удивительную белизну его лица. И до сих пор ежегодно, в дни их кончины, его можно видеть в Невском монастыре. Богомольные барыни и барышни, живущие под Невским, постоянно присутствующие на всех церковных обрядах, похоронах, панихидах и проч., глядя с восхищением на Виктора Александрыча, гордо стоящего — ибо и в храме божием гордость не оставляет его — и с достоинством молящегося о успокоении души своих родителей, восклицают с чувством: "Ах, какой интересный, просто чудо! и несмотря на то, что такая знатная особа, а какой примерный сын, эдаких сыновей на редкость в нынешнем свете!" Шесть недель после кончины матери, которые были исключительно посвящены печальным созерцаниям, исполнению обрядов и прочего, Виктор Александрыч с свойственным ему благоразумием приступил к рассмотрению и устройству своих дел: он переменил квартиру; распустил многочисленную дворню и оставил при себе только четырех

человек: камердинера, лакея, кучера и повара. Квартиру он нанял небольшую, но в лучшей части города и устроил ее, не истратив на нее ни копейки; искусно уставил ее старую родительскою мебелью, которая была по-лучше, доставшимися ему разными вещами: саксонским и китайским фарфором, старинными кубками с двуглавыми орлами, стопами и чашами, увесил стены старинными картинами, разложил на столах книги, которых он, впрочем, никогда не читал, и иллюстрированные издания. Квартира его приняла вид совершенно аристократический.

В кабинете его прежде всего бросался в глаза, в круглой великолепной резной раме, портрет его отца в полном мундире и со всеми знаками отличий, и большая подушка на диване, на которой были вышиты два соединенные герба фамилии Белогривовых и Балахиных. В год траура Виктор Александрыч почти никуда не показывался. Он выезжал в свет только на обыкновенные вечера и всего чаще посещал почетную и важную старушку, которая удостоила его не только заметить, но даже отличить на бале у княгини Красносель-

ской. Он умел поддерживать ее высокое расположение и сделаться для нее почти необходимым лицом: он просиживал у нее по целым вечерам, читал ей французские газеты (почетная старушка любила заниматься политикой) и исполнял с быстротою и аккуратностью различные ее поручения. Об истории его сестры давно уже перестали говорить, так что Виктор Александрыч совершенно успокоился касательно этого предмета и почти забыл об существовании Софьи Александровны. Об ней не было никакого слуху, и он не желал узнавать, где она и что с нею. Правда, иногда вдруг совершенно независимо от его воли и без всякого повода его внутренний голос будил в нем воспоминание об ней и нашептывал ему ее имя, но он задушал в себе этот голос мыслию, что поступок его сестры не заслуживает ни снисхождения, ни сострадания и что этим поступком она навсегда разорвала с ним кровные отношения и связи.

Успех Виктора Александрыча в свете укреплялся с каждым годом. Этому успеху он был обязан вообще женщинам и преимущественно протекции почетной старушки. Он

предпочитал дамское общество и беседу с людьми значительными, солидными и пожилыми буйным сходкам молодежи, которая, в свою очередь, не чувствовала к нему особенного расположения и называла его накрахмаленным господином. Дамы почти все были на его стороне и защищали его от насмешек и нападков с большою тонкостью и ловкостью, хотя некоторые из них втайне признавались, что, несмотря на все его нравственные достоинства, от него веет холодом и скукой, и чувствовали несравненно более влечения ко многим из тех, которые вовсе не пользовались нравственной репутацией. Виктор Александрыч действительно не мог возбудить страсти, но он внушал к себе невольное расположение всего прекрасного пола за свой глубокий светский такт, за свое непогрешительное *сomme il faut* и за ту полную уверенность в своих достоинствах, которая одною чертою отделялась от наглости. При этом он обладал всеми маленькими талантами, которые в глазах женщин имеют большое достоинство. Он умел срисовать пейзаж для альбома, пропеть романс или даже какую-нибудь

итальянскую арию, довольно удачно набросать карикатуру, но все эти таланты он обнаруживал только для немногих избранных. Он не принадлежал к записным светским танцорам, которые танцами приобретают себе славу и известность в свете и делают блестящую карьеру; ему гораздо приятнее было с высоты своего величия, заложив руку за жилет, обозревать великолепную и пеструю толпу, кружившуюся и двигавшуюся в бальной зале; он не любил танцы для танцев, но считал за неприменную обязанность танцевать с теми, на которых обращено было особенное внимание света, которые выходили на первый план красотой, знатностью рода и особенно богатством. Он танцевал прекрасно, но без блеска и быстроты, без веселости и увлечения, потому что никогда и ни в каком случае не изменял своему холодному величию. Танцы нашего времени, для которых нужна быстрота и известная степень увлечения, не подходили к его строгому характеру, но он был бы превосходен в менуэте и вообще в старинных танцах, которые требовали плавности в движениях, спокойствия, медленности и достоин-

ства.

Ему вообще надо было бы родиться столетием ранее, потому что какое-нибудь сукно, трико и полотно не шли к его торжественной фигуре, — для нее были необходимы глаза, шелк, атлас, батист, кружева и брильянты. Впрочем, я думаю, что люди, подобно моему герою, прошедшие через все тонкости высшей школы, не нуждаются ни в каком внешнем украшении. Если бы Виктор Александрыч не имел той привлекательной и величественной наружности, которая доставила ему прилагательное к его фамилии: *le superbe*, он все-таки был бы оценен за его умственные и нравственные качества... Об его уме говорили в свете очень много, вероятно, потому, что он говорил очень мало, но зато уж если говорил, то всегда обдуманно и рассчитанно, каждое слово и фраза заранее были взвешены в его голове и потом уже пускались в ход с таким значением и с такою важностью, что самая пустая и ничтожная фраза, которая прошла бы незаметной в устах другого, в его устах казалась необыкновенно дельною и серьезною. Он пользовался еще, между прочим, даже

между великосветскою молодежью, которая отвергала все его другие достоинства, репутациею замечательного дипломата — вероятно, потому, во-первых, что служил в министерстве иностранных дел, а во-вторых, потому, что в наружности и в манере его действительно было что-то дипломатическое. Глядя на холодное, бесстрастное, серьезное и оттого как будто глубокомысленное лицо Виктора Александрыча, на его важность и на его плавные, сдержанные манеры, можно было подумать, что он носит в себе глубочайшие политические планы, соображения и тайны. Бальзак очень хорошо сказал про такого рода дипломатов: "Они считают себя великими людьми, потому что дипломатия очень удобное занятие для тех, которые не имеют никаких знаний и отличаются глубиною своей пустоты; потому что она, требуя людей, умеющих держать тайны, дает прекрасный случай невеждам значительно пожимать плечами, принимать таинственный вид и молчать". Но если Виктор Александрыч и не был дипломатом в прямом значении этого слова и ограничивался, собственно, только перепискою де-

пеш (он имел превосходный почерк), то в жизни, в своих личных сношениях с людьми, он, без всякого сомнения, обнаруживал замечательные дипломатические способности. Начальство обращало на него особенное внимание, потому что он пользовался высокой протекцией почетной старушки и при этом имел нравственные достоинства, резко отличавшие его от других молодых людей. Оттого он перегнал в чинах всех своих сверстников и при первой возможности был сделан камер-юнкером.

Какой-нибудь молодой человек с обыкновенным самолюбием, с ограниченными взглядами и с легкомыслием, которое так свойственно молодости, будучи на месте Виктора Александрыча, совершенно бы удовлетворился и успокоился; но Виктор Александрыч был не таков. Несмотря на то, что средства его доставляли ему возможность вести жизнь не только приличную, но даже роскошную, он считал себя чуть не бедняком и постоянно был озабочен мыслию об устройстве своей будущности в блестящих и широких размерах. Эта потребность росла в нем с

каждым годом, не давая ему покоя. Ему было уже под тридцать лет. Его взгляды на жизнь сделались еще основательнее и положительнее, он с внутренней болью сознавал, что, несмотря на некоторое значение, которым уже он пользовался в большом свете, он не имеет с ним кровной связи: что он все-таки выскочка, — *parvenu*; что его светские приятели, какие-нибудь князь Драницын или граф Ветлицкий, с которыми он был на «ты», как и со всеми молодыми людьми большого света, не имеющие и сотой доли его ума, его способностей и его нравственных качеств, все-таки считают себя выше его, потому что они ведут свой род чуть не от Рюрика, тогда как его отец, несмотря на почетные титулы, с которыми он сошел в могилу, вышел неизвестно откуда; что его сестра замужем за каким-то лекарем и что хотя по матери он принадлежит к известному и старинному дворянскому роду, но все-таки что такое какие-нибудь Балахины перед Драницыными! Виктор Александрия понимал, что ему необходимо большое богатство, чтобы возвысить род Белогривых, придать ему блеск и заставить забыть о

его темном начале. Богатство можно было приобрести не иначе, как через выгодную женитьбу. Трудная задача. Ему необходимо было, чтобы его будущая невеста имела и богатство и имя или по крайней мере какие-нибудь связи с высшим обществом. Богатство найти еще не трудно, но имя, соединенное с богатством, такая редкость в настоящее время! Немногие богатые невесты знатного рода еще в колыбели назначаются немногим богатым женихам такого же рода. Какойнибудь миллионер откупщик, золотопромышленник или купец, конечно, почел бы за величайшую честь отдать дочь свою за Виктора Александрыча, но на дочь какого-нибудь откупщика, несмотря ни на какие ее достоинства, несмотря ни на какое воспитание и несмотря ни на какое богатство, высший свет смотрел бы все-таки свысока и оказывал бы ей только снисходительное покровительство, если бы и допустил в свой круг. Князь Драницын, например, мог в крайнем случае для поправления своих совершенно расстроенных дел решиться на такой подвиг, потому что княгиню Драницыну, кто бы она ни была, поморщившись,

конечно, но все-таки признали бы своей, а Виктору Александрычу надобно было еще добиваться того, чтобы самому пустить корни в аристократическую почву, раскинуться и утвердиться на ней, потому что сам он в большом свете походил на молодое деревцо, пересаженное на новое место, которое, правда, уже принялось и распустилось, но еще за прочное существование которого ручаться было нельзя. Обдумав и рассчитав все это, Виктор Александрыч с терпением, осторожностью и ловкостью опытного охотника, крадущегося за дичью, начал следить за богатыми невестами и сторожить их. Но, несмотря на всю его осторожность и тонкость в этом щекотливом деле, неблагоприятная к нему светская молодежь тотчас подметила его маневры и прозвала его искателем богатых невест. "У него это на лбу написано", — говорили они. Это прозвище из высшего света перешло в другие общества, и какой-нибудь г. Вихляев — этот омерзительный тип крайней пустоты, пошлости и обезьянства, гуляя по Невскому проспекту с своими приятелями, при встрече с Виктором Александрычем, ко-

того он, разумеется, знал только по имени, — всегда говорил: "А! вот искатель богатых невест".

До Виктора Александрыча не могли не доходить слухи о том, как зло его приятели отзывались об нем за глазами и какие ядовитые анекдоты распускали об нем в городе, но он нимало не смущался этим, продолжал самым дружеским образом обращаться с одним из жесточайших своих тайных врагов, князем Драницыным, и шел упорно и твердо к своей цели.

Людям такого характера, каков был у Виктора Александрыча, все удается, — и удачи эти зависят от них самих, а не от слепого счастья, которое им приписывают люди тупоумные и нерассуждающие.

Однако все старания Виктора Александрыча к отысканию богатой невесты в свете долго оставались бесплодными. В виду для него, кроме пожилой княжны Зарайской, с большими связями и с большим, но расстроенным состоянием, никого не было. Виктор Александрыч, в ожидании чего-нибудь лучшего, стал ухаживать за княжною. Начинали даже пого-

варивать, что он женится на ней, как вдруг в то самое время, когда шли эти толки, совсем неожиданно появилась в свете девушка без блестящего имени, но, как говорили, с огромным богатством, довольно близкая родственница одному из самых важных и значительных лиц в городе. Двоюродная сестра этого лица отдана была совершенно прожившимися родителями замуж за какого-то незначительного господина, нажившего себе миллионы посредством не совсем честных, но чрезвычайно удачных спекуляций, приобретшего имения, большие земли на юге России и железные заводы в Сибири. От этого брака родилась дочь, которая на девятнадцатом году лишилась отца (мать ее умерла еще прежде) и сделалась единственной наследницей всех этих богатств. Год своего последнего траура она провела в Москве, в доме своей родственницы по матери, и по окончании траура вызвана была в Петербург важным и значительным лицом, который принял ее под свое родственное покровительство и в доме которого она поселилась. Она также считалась в родстве, хотя довольно дальнем, с почетной ста-

рушкой, которая протезировала Виктора Александрыча.

Появление этой девушки в петербургском большом свете наделало шуму, и слухи об ее состоянии, может быть, несколько преувеличенные, быстро распространились по всему городу. Она сделалась известна под именем богатой невесты. Наружность ее не имела ничего замечательного: она была небольшого роста, худощава, имела цвет лица изжелта-смуглый, густые черные волосы, черные блестящие глаза и очень быстрые, порывистые и не совсем тонкие манеры. В ней не было признака того, что зовется породю, она походила более на отца, чем на мать. Воспитание она получила хорошее, но без всякой великосветской выдержки и людей светских, кровных и породистых смешила своей наивностью. Несмотря на все это, свет принял ее довольно благосклонно, как богатую наследницу и родственницу значительного лица.

Виктор Александрыч с первой минуты ее появления, хотя она далеко не удовлетворяла своею наружностью и манерами того тонкого идеала женщины, который он носил в себе,

решил, что это именно та, которую он ищет. На первом ее светском дебюте, на бале у графини Рябининой, он танцевал с ней мазурку и с этой минуты все свое внимание преимущественно сосредоточил на ней, не упуская, впрочем, совершенно из виду княжну Зарайскую, из боязни злого языка раздраженной пожилой девушки, чтобы не вдруг открыть свои настоящие виды. Богатая невеста сначала как будто несколько робела перед Виктором Александрычем, но потом начала постепенно привыкать к нему и даже, видимо, чувствовать некоторое расположение.

— Знаете ли, что я вас первое время ужасно боялась, — сказала она ему однажды, с свойственной ей живостию, улыбаясь и прямо смотря ему в глаза.

— Будто? отчего же это? — спросил Виктор Александрыч.

— Оттого, — отвечала она, — что вы держите себя так важно и недоступно, как будто все, что кругом вас, недостойно вашего внимания. Скажите, зачем вы это делаете?

Этот наивный вопрос и тон, которым он был произнесен, не понравились Виктору

Александрычу, однако он скрыл это и произнес с едва заметной улыбкой:

— Вы уж никак не можете сказать, чтобы я не обращал ни на кого особенного внимания. Вы должны по крайней мере исключить из всех себя...

— Мне очень лестно, что я попала в исключение, — сказала она, — но я, в самом деле, принадлежу к исключениям в вашем свете. Я еще не могу привыкнуть к нему, мне все как-то еще неловко и странно... Здесь как-то и дышать трудно, — прибавила она, засмеявшись, — как будто мне недостает воздуха... Я привыкла к более свободной жизни.

"Ты отвыкнешь от нее!" — подумал Виктор Александрыч.

К окончанию бального сезона в городе начали носиться слухи о разных браках и, между прочим, о браке Белогривова с богатой невестой. Последний слух был несправедлив, хотя и имел некоторое основание, потому что виды на нее Виктора Александрыча не были уже тайною для тех, которые ездят в свет.

Этим видам в особенности способствовала его покровительница — почетная старушка.

Еще вскоре после приезда в Петербург богатой невесты она сказала Виктору Александрычу с расстановками и понюхивая табак из своей золотой табакерки, с портретом на эмали императрицы Екатерины:

— Тебе, батюшка, пора бы уж подумать о том, чтобы завестись своим домом... ты человек такой порядочный, солидный... к тебе нейдет холостая жизнь... Вот тебе невеста... приезжая-то эта... Лиза Карачевская. Право. Чего же лучше? Она богата... Ее отец... я его не знала, он, говорят, был так, из каких-то из простых, аферист какой-то был... он оставил ей огромное состояние; ну, а по матери она имеет хорошее родство... Она и мне ведь как-то доводится... мы с матерью-то ее были троюродные... ну, а дядя ее, князь Андрей Федорыч — теперь важное лицо... а помню еще, как мальчишкой в курточке бегал... Ты как ее находишь?..

Виктор Александрыч отвечал, что она ему нравится.

— Да, она ничего... вертлявая только такая... ну да что ж требовать?.. Девочка порядочного общества еще не видала...

Месяца через три после этого, в одно утро, Виктор Александрыч сидел у почетной старушки и, по обыкновению, читал ей газеты, только что полученные с почты.

Когда чтение окончилось, она, по обыкновению, понюхала табаку и начала по поводу этих газет делать свои критические замечания.

— Вот, — говорила она, — этого Гизо называют умником... Что ж в нем умного?..

Бог знает, что теперь делается во Франции... Шумят, кричат в этих Палатах, без всякого толку... Всех бы их выгнать по шеям и призвать бы на престол законного короля Генриха Пятого... Ах, какой безалаберный, пустой народ эти французы!..

Ну, да бог с ними... Скажи-ка мне лучше, как идут твои дела?

— Какие дела? — спросил Виктор Александрыч, притворяясь, что не понимает вопроса.

— Как какие? — возразила старушка, вертя табакерку между двумя морщинистыми пальцами, из которых на одном горел старинный брильянтовый перстень, — а Лизато Карачевская? Она была у меня... я спрашивала у

нее про тебя. "Что, я говорю, нравится ли он тебе?.. да говори правду..." Сначала замялась, ну, а потом призналась, что ты ей очень нравишься. Что же, ты бы уж кончал это дело... Зачем в долгий ящик откладывать... Хочешь, чтобы я переговорила предварительно с дядей-то ее?.. Ведь его нельзя обойти.

— Я хотел вас просить об этом, — сказал Виктор Александрыч с почтительным наклоном головы.

— Хорошо, мой друг, я постараюсь тебе устроить это дело.

Через несколько дней после этого разговора значительное лицо заехало к ней с визитом. Старушка (которая была большая говорунья) завела речь о скверном петербургском климате; о нынешней молодежи, которая, по ее мнению, ни на что не похожа; удивлялась княгине Л\*, которая допускает в свой парижский салон Гизо и еще дружится с ним, несмотря на то, что он министр незаконного короля, и после минуты отдыха, понюхав табак, завертела свою табакерку между двумя пальцами.

— Ну, а что, князь, твоя Лиза? — спросила

она.

Князь отвечал, что ничего и что она поне-многу начинает привыкать к свету, к обще-ству.

— Что, ей, я думаю, лет уж двадцать с лиш-ком? Ей бы и замуж пора. От жениховто, я чай, нет отбоя.

Князь отвечал, что он ничего не знает и не слыхивал ни о каких женихах.

— Нет, ей пора, пора замуж, — произнесла старушка настоящим тоном, посмотрела на князя значительно и остановилась на ми-нуту. — У меня есть в виду для нее жених...

— В самом деле? — отвечал князь, улыб-нувшись. — Кто же это?

— Отличный молодой человек во всех от-ношениях — умный, скромный, порядоч-ный... *un homme tout a fait comme il faut...* только не в нынешнем смысле... он непохож на эту молодежь, которая беспутничает, шля-ется по трактирам и волочитя за плясунья-ми. Он сын почтенного отца и человек, кото-рый может сделать карьеру. Ты ведь, князь, знаешь его... я говорю о Белогривове.

— А-а!.. он, точно, очень достойный моло-

дой человек, — возразил князь, — но я полагаю, что Lise может сделать партию более видную.

Табакерка с портретом императрицы Екатерины быстро завертелась между двумя пальцами почетной старушки, морщинистая голова ее затряслась, и все туловище ее пришло в движение.

— Я любопытна знать, — произнесла она дребезжащим от волнения голосом, — почему же Белогринов ей не партия, чем он ниже ее... что же такое был ее отец?..

Вспомните, князь... надо же смотреть на вещи так, как они есть... Он может составить счастье этой девочки.

Почетная старушка пользовалась столь сильным авторитетом и значением, что даже такое значительное лицо, как князь, перед которым все расступалось, кланялось и благоговело, пришел в некоторое смущение от ее гнева. Он начал как будто оправдываться, говорил, что ему еще и в голову не приходило о замужестве племянницы и что он сделал возражение это так.

Старушка приподнялась с своих кресел, ве-

лично выпрямилась и, обратясь к значительному лицу, произнесла с чувством подавляющей гордости:

— Белогривов делает предложение вашей племяннице, князь, через меня...

— Я должен переговорить с нею, — перебил князь.

— Делайте, как знаете, но если вам не угодно будет по каким-нибудь вашим расчетам принять его предложение, то вы ему откажите, князь, через меня, потому что я принимаю участие в этом деле.

Произнеся это, старушка поклонилась князю и, несмотря на свои лета и уже несколько согбенный стан, торжественно, как власть имеющая, вышла из комнаты.

На другой день Виктор Александрыч был объявлен женихом богатой невесты.

Почетная старушка держала в страхе всех, от больших до маленьких, она не терпела никаких возражений, ее просьба была почти приказанием, потому что никто и никогда не осмеливался отказывать ей ни в чем; значительные лица за глазами подсмеивались над ней, но в глаза показывали ей знаки глубо-

чайшего уважения; про ее странности, капризы и деспотический характер ходили в городе бесчисленные рассказы.

Однажды, говорят, ее родной племянник, известный генерал, увешанный знаками отличий, приехал к ней с визитом. Она сидела в своей маленькой гостиной на своем старинном вольтеровском кресле и с своей неразлучной табакеркой в руке.

Племянник раскланялся, поцеловал ее руку, она указала ему на кресло против себя, он сел и в жару какого-то рассказа, забывшись, облокотился о спинку кресел и положил ногу на ногу. Старушка долго смотрела на него и на его ноги с вниманием, которое не обещало ничего доброго, и наконец вдруг прервала его речь.

— Что это такое? — вскрикнула она. — Посмотрите на себя, батюшка, как вы сидите передо мною? вы забываетесь! Я вас прошу выйти вон.

И три месяца после этого не пускала к себе генерала на глаза.

Пользоваться покровительством такой особы удавалось не всякому и было не так

легко. Виктор Александрыч принадлежал к немногим счастливым. Почетная старушка, которая в последнее время почти никуда не выезжала и изредка только удостаивала чести своим посещением немногих избранных, сама вызвалась быть посаженной матерью Виктора Александрыча. О такой высокой чести кричал с удивлением весь город, и это обстоятельство значительно подняло Виктора Александрыча во мнении света.

Посаженый отец, конечно, выбран был под пару посаженной матери. Свадьба, совершившаяся в церкви одного аристократического дома, была вообще необыкновенно блистательная и наделала в свое время большого шума в городе.

— Vous savez la grande nouvelle, mon cher? искатель богатых невест и накрахмаленный господин достиг-таки своей цели, — сказал князь Драницын адъютанту, только что вернувшемуся из какой-то поездки, с которым он встретился на Невском, — мы его вчера обвенчали на богатой невесте. Я был его шафером, а княгиня Анна Васильевна посаженной матерью... сама княгиня Анна Васильевна!

— Ваh! — воскликнул адъютант, разинув рот от удивления при этом имени и остановившись на этом ваh.

#### IV

Через полтора месяца после брака Виктора Александрыча супруга его вручила ему полную и неограниченную доверенность на управление всем ее имением. Через год он купил дом на собственное имя и начал устроить его с великолепием, не уступавшим первым домам столицы. Дом этот, отделанный снаружи в растреллиевском стиле, вроде дома князей Белосельских, считался теперь одним из лучших домов в Петербурге.

Первые месяцы после своего замужества Лизавета Васильевна, так звали супругу Виктора Александрыча, казалась совершенно счастливою: ее все радовало, все занимало, все удивляло, и вследствие своего живого характера она обнаруживала свое удивленье и свою радость прямо, с добродушием и искренностью. Лизавете Васильевне не приходило в голову, что благовоспитанные светские женщины не высказывают своих внутренних

движений и что в свете всякое увлечение считается отсутствием такта и неприличием. Лизавета Васильевна иногда вдруг, в порыве своего чувства, бросалась на шею к своему супругу, обнимала его и объяснялась ему в любви.

— Я не хочу, Victor, — говорила она ему, — чтобы ты был такой мрачный, серьезный, неподвижный... Мне все кажется, что ты сердисься на что-нибудь или чем-нибудь недоволен. Если ты любишь меня, ты должен быть теперь так же весел и счастлив, как я. Ведь ты любишь меня? ну, скажи мне, любишь?.. да?..

Эти вопросы о любви, с которыми приставали к нему, производили на него самое неприятное впечатление... Но в устах жены они казались ему еще неприятнее, чем в устах сестры.

— Что за объяснения! — возражал он со своим обычным холодным достоинством. — Ты знаешь, что я тебя люблю, я знаю, что ты меня любишь. Любовные фразы говорят только в романах и на театре... Порядочные люди любят молча...

— Какой ты несносный, Victor, — перебивала она полушутя, полусерьезно, — что мне за дело до твоих порядочных людей... Бог с ними! Я знаю, что я непорядочная, потому что я не могу скрывать того, что чувствую.

При слове непорядочная Виктора Александрыча как-то всего неволью передернуло, и брови его вдруг сдвинулись.

— Это дурно, очень дурно, — возразил он, сдерживая себя. — Ты не девочка уж, не пансионерка какая-нибудь... Ты имеешь положение в свете.

Лизавета Васильевна от нетерпения хлопала ножкой...

— Ах, как это скучно, мораль! — говорила она, нахмутив брови, но улыбаясь в то же время, — ты меня убиваешь... Отчего ты такой холодный, Victor, скажи мне?

— Ты смотришь на все как-то странно, — отвечал Виктор Александрыч, — для тебя радость должна непременно выражаться смехом, любовь — нежными объяснениями, фразами и ласками, печаль — слезами, и я тебе кажусь холодным потому только, что умею владеть собой; это необходимо, ты скоро сама

поймешь это... Людей, которые не умеют владеть собой в свете, называют неблаговоспитанными.

— Положим, — возразила Лизавета Васильевна, — надо уметь владеть собой в свете, положим, что смешно и неприлично обнаруживать свои чувства перед людьми посторонними, но зачем мы будем скрывать друг от друга свои чувства, впечатления, мысли, когда мы вдвоем, когда мы наедине? Я не понимаю этого.

Такого рода разговоры обыкновенно оканчивались замечаниями Виктора Александровича, что вместо того, чтобы рассуждать, гораздо лучше вести себя так, как ведут все.

Один раз Лизавета Васильевна, которая старалась заметно, с некоторого времени, сдерживать свои внутренние ощущения (она уж не так часто бросалась на шею к супругу), после обыкновенного с ним разговора на минуту задумалась и потом вдруг обратилась к нему:

— Я давно хотела тебя спросить, — сказала она, делая некоторое усилие над собою, — но я не знаю, меня что-то останавливало... у те-

бя, говорят, есть сестра, а я ничего не знала об этом.

В голосе, которым она произнесла это, было более грусти, чем упрека.

Надобно было пройти сквозь все искусства высшей школы, чтобы не обнаружить при этом неожиданном вопросе ни движением, ни взглядом, ни восклицанием ни малейшего волнения. Вопрос этот кольнул Виктора Александрыча в самое больное место, но он отвечал на это равнодушным и спокойным тоном:

— Кто тебе сказал?..

— Для чего тебе это знать? Впрочем, это мне было передано не за тайну, и я могу тебе сказать кто... но скажи мне прежде, правда это или нет?

Виктор Александрыч отвечал, что у него, точно, была сестра и что она, может быть, жива еще, но вследствие ее ужасного поступка для него она уже более не существует. И он рассказал всю историю ее: как она бежала из родительского дома, убила, отца и мать и прочее.

Лизавета Васильевна не могла скрыть сво-

их ощущений при этом рассказе; сдерживаемые слезы крупными каплями выступали на ее глазах и лились по ее смуглым щекам.

— Отчего же ты мне не сказал об ней прежде? — спросила она с горячностью и волнением, — от меня ты, казалось бы, не должен был скрывать этого...

— Для чего бы я стал говорить об этом! — отвечал он. — Между ею и мною все сношения прерваны; ни я, ни ты, надеюсь, никогда ее не увидим.

Лизавета Васильевна вздрогнула.

— Но если она сделала дурной поступок, — сказала она через минуту, — то это было по увлечению, по страсти. И бог прощает, — неужели же ты никогда не простишь этого сестре?

— Я тебя прошу никогда более не говорить мне об этом, — сказал Виктор Александрыч твердо.

Лизавета Васильевна повиновалась его воле, но этот разговор оставил в ней тяжелое и горькое впечатление, и мысль об этой отверженной долго преследовала ее.

Виктор Александрыч, вначале останавли-

вавший легкими замечаниями порывы и увлечения своей супруги, противоречившие совершенно великосветскому понятию о благовоспитанности, видел, что против этого надобно принять меры более серьезные. Он сознавал опасность этих порывов, если им дать полную волю, необходимость охладить горячность ее сердца, затушить ее идеальные, романтические стремления и не дозволить им развиваться... Виктор Александрыч все глубокие человеческие чувства, все горячие убеждения сердца называл идеальными и романтическими стремлениями... Он понимал необходимость дисциплинировать ее, дать ей практическое направление, перевоспитать на свой манер, подвергнуть ее всем пыткам высшей школы, чтобы сделать из нее настоящую светскую женщину, достойную носить фамилию Белогривовых. Все это было, конечно, не совсем легко, но он успокаивал себя мыслию, что такие характеры, каков был у Лизаветы Васильевны, имеющие много горячности, но мало твердости, легко вспыхивающие, но скоро охлаждающиеся, должны без больших препятствий подчиняться посторон-

нему влиянию, особенно если действовать на них постепенно и не слишком резко.

Виктор Александрыч приступил к своей цели с осторожностью и ловкостью и не сомневался в успехе. Он знал, что Лизавета Васильевна имела склонность к чтению, и хотя сам был убежден, что книги, исключая весьма немногих, приносят более вреда, нежели пользы, но он не вооружался против ее склонности: напротив, сам взялся устроить ей библиотеку, исключив из нее современные романы, которые, по его мнению, были наполнены нелепыми фантазиями и утопиями, располагающими к пустому идеализму и вредной экзальтации... Особенным презрением его пользовалась Жорж: Санд, произносить имя которой он считал даже неприличным; о классических писателях Виктор Александрыч отзывался, напротив, с большою благосклонностью и особенно о Корнеле, которого называл не иначе, как *le grand Corneille*, и замечал, что он внушает высокие, героические чувства. Из боязни, однако, чтобы в библиотеку его супруги не попало что-нибудь проникнутое безнравственным совре-

менным направлением и не вполне полагаясь в этом случае на себя, он прибегнул к совету одного очень известного в свете пожилого господина, глядевшего исподлобья, но с выражением сладким и вкрадчивым, пользовавшегося репутацией человека необыкновенно умного, многосторонне образованного и глубоко нравственного и состоявшего при многих великосветских барынях в качестве директора их совести. Говорили, что этот господин вел сначала жизнь довольно беспутную, промотался, потерял всякое значение в свете и превратился в утонченного лицемера и ядовитого ханжу, для того чтобы восстановить свою репутацию. Но Виктор Александрии не верил этим толкам, очень уважал его и питал полную доверенность к его душевным качествам.

Дамский руководитель принял с большою радостью предложение Виктора Александрыча и деятельно занялся составлением библиотеки для Лизаветы Васильевны. Это обстоятельство сблизило его с нею, и он, после первых неудач, незаметно начал вкрадываться в ее душу и приобретать ее доверенность. Вик-

тор Александрыч не только не препятствовал этому, напротив, был очень доволен. Он знал, что этот господин преследовал с неумолимым упорством всякого рода увлечения и порывы и проповедовал о необходимости для женщины нравственной дисциплины, состоявшей в полном смирении, безусловной подчиненности и покорности перед мужем, каков бы он ни был, и перед светом и его уставами. Виктор Александрыч знал, что всякий протест, малейшее проявление воли были, по мнению этого почтенного лица, преступлением; что он придавал словам своим еще большую силу слезами на глазах и дрожанием в голосе, что, как известно, очень сильно действует на женские нервы и на впечатлительные и слабые натуры.

Но в то время как дамский руководитель употреблял все усилия для того, чтобы дисциплинировать душу Лизаветы Васильевны, — Виктор Александрыч, с своей стороны, предпринимал все меры, чтобы придать своей супруге безукоризненную великосветскую наружность и подчинить ее всем условиям высшей школы. Каждый шаг ее, каждое слово,

каждый взгляд, каждое движение подвергались его утонченнейшему контролю. Он дошел до того, что останавливал ее иногда на полслове одним едва заметным движением своей брови.

Бедная женщина не без внутренней борьбы, не без тайных страданий покорялась своим нравственным великосветским руководителям. Все ее благородные инстинкты восставали против этого нестерпимого деспотизма. Она понимала посягательство на свою свободу, чувствовала, что в ней убивают все живое, все искреннее, все человеческое во имя каких-то законов и условий неумолимого и беспощадного приличия, и, вырываясь от своих наставников, втайне, наедине, облегчала несколько боль притесненной души рыданиями, свободно вырывавшимися из груди, и потоками слез.

Привязанность ее к Виктору Александрычу начала колебаться подозрениями, что он не любит ее и не любил, что он женился не на ней, а на ее богатстве, что он человек холодный, эгоист, — и, в порывах своего негодования на него, в отчаянии, она кокетничала с

каким-то офицером, который особенно ухаживал за ней.

Иногда, впрочем, она старалась оправдывать Виктора Александрыча и утешать себя мыслию, что ее подозрения несправедливы, что все это ей так только кажется, что он любит ее и в самом деле желает ей добра, — и тогда она обвиняла себя в непростительной и преступной подозрительности, в безнравственном кокетстве; находила, что ей действительно нужно перевоспитать себя для света, что ее нельзя любить так, как она есть. Дамский руководитель казался ей то лицемером и шпионом, приставленным к ней мужем; то человеком, в самом деле достойным полного уважения за свои нравственные правила. Все понятия, мысли, взгляды, убеждения, которые начинали зарождаться в ней, — все это было поколеблено; она чувствовала хаос внутри себя. То, что она считала нравственным, называли безнравственным, то, в чем она видела благородные стремления, от чего радостно билось ее сердце, во что она желала горячо верить, называлось опасным заблуждением, ложным и пустым идеализмом,

и так далее. Все любимые ее писатели, которыми она увлекалась прежде и которых читала с жадностью, предавались неслыханным обвинениям, считались растлителями нравов, посягающими на все высокое и прекрасное. Лизавета Васильевна совершенно потерялась, в ней все перепуталось и смешалось, она не знала, где добро и где зло, что нравственно и что безнравственно. Ее веселость и живость пропали, у нее обнаружились нервные припадки; ей было тяжело, как человеку, вдруг ослепнувшему и бродящему ощупью.

Виктор Александрии видел в ней наружную перемену, но не подозревал, какие внутренние муки переносила она, потому что сам никогда не испытывал их; он был доволен тем, что она держала себя серьезнее, приличнее и с большим достоинством.

Но от дамского руководителя не укрылось то, что совершалось в душе Лизаветы Васильевны. Это была самая удобная для него минута, чтобы действовать на нее.

Она стояла на распутьи, в недоумении, по какой дороге идти, — и ей надо было указать

эту дорогу и поддержать ее. С необыкновенною вкрадчивостью и во всеоружии он приступил к своему подвигу... Для убеждения ее в ход было выпущено все: красноречие, цитаты из книг, слезы на глазах, дрожание в голосе и проч.

Против всего этого слабой женщине устоять было невозможно; борьба была слишком неровная, и Лизавета Васильевна после долгих сопротивлений и колебаний должна была признать себя побежденной и покориться.

— Благодарю вас, — сказала она однажды своему наставнику, после долгой беседы с ним, — вы успокоили мою душу и примирили меня с самой собою.

— Это самая лучшая минута в моей жизни, — произнес он, приподнимая зрачки к потолку, — но вы должны прежде всего благодарить не меня, — я только слепое орудие высшей воли...

Спокойствие, точно, возвратилось в душу Лизаветы Васильевны, но прежняя веселость, простота и искренность уже не возвращались к ней. Зато, к совершенному удовольствию Виктора Александрыча, она начинала усвои-

вать себе понемногу все приемы великосветских дам. В ней и следов не осталось тех порывов и увлечений, которые так оскорбляли тонкое чувство приличия в ее супруге: она уже не ласкалась к нему и не говорила ему о своей любви. Лизавета Васильевна дошла до того, что не знала, любит ли она его или нет, да и не старалась анализировать свое сердце, — он был ее муж, и она склонялась перед авторитетом мужа, сохраняя, впрочем, свое внешнее достоинство. Первый искренний пыл любви и молодости исчез в ней, уступив место суровому и непреклонному долгу. Более ничего и не требовал от нее Виктор Александрович. Она начинала осуществлять его идеал жены. Но этот внутренний перелом, которому подверглась Лизавета Васильевна, не мог остаться без последствий, потому что он совершился не без борьбы. Она чувствовала первое время после своего обновления страшную пустоту, томленье и тоску, которые всячески старалась подавлять в себе. В этом положении она обратилась к общественной благотворительности и сделалась попечительницей какого-то приюта. Приют этот,

процветавший под ее бдительным и неусыпным надзором, скоро достиг до такого совершенства, что обратил на себя внимание всех известных в городе благотворителей и благотворительниц. Его ставили в образец. В свете заговорили об Лизавете Васильевне как об женщине, достойной уважения и истинной христианке.

— Вот что значит иметь хорошего мужа, — говорили про нее в один голос все люди, известные в Петербурге своей неоспоримой благонамеренностью и нравственностью, — что она была такое, когда выходила замуж? — ничтожная девочка, дурно воспитанная, пустая вертушка, не умевшая себя вести прилично, — а теперь во всех отношениях примерная женщина, — и кому всем этим обязана? мужу!

Когда отношения Виктора Александрыча с женою определились и приняли именно тот великосветский приличный характер, который они должны были иметь, Виктор Александрыч, в свою очередь, для развлечения (потому что он немного скучал дома), начал посещать довольно часто одну даму, которая

известна была в Петербурге под именем Дарьи Васильевны. Вскоре после этого Дарья Васильевна переехала на новую, прекрасно меблированную квартиру. Несмотря, однако, на то, что Виктор Александрыч не подавал ни малейшего повода к каким-нибудь неблагоприятным заключениям относительно сношений своих с этою дамою, многие уверяли, что новая квартира Дарьи Васильевны была будто бы меблирована на его счет и что за ее лошадей платил будто бы его секретарь — г-н Подберезский, известному Пахомову, который для некоторых дам поставляет, вместе с экипажами, раздетых детей. Рассказывали, между прочим, будто Виктор Александрыч держит очень строго Дарью Васильевну и не позволяет ей слишком выставляться. Все эти слухи большею частию распространял князь Драницын. Я им никогда не верил, потому что строго нравственные правила Виктора Александрыча совершенно противоречили этим слухам... Но если и допустить справедливость их, то и тогда нельзя все-таки не заметить, что Виктор Александрыч вел себя как истинный джентльмен, как достойный пред-

ставитель высшей школы: он не щеголял своею безнравственною связью, не пускал пыль в глаза экипажами и нарядами своей возлюбленной, не показывался вместе с нею на публичных гуляньях, как это делают те, которые считают себя безукоризненными джентльменами. Виктор Александрыч мог и в этом служить образцом для многих великосветских господ с громкими именами.

Карьера Виктора Александрыча быстро двигалась вперед. Он уже имел значительное звание. Через четыре года после своей женитьбы он переехал в свой новый дом и открыл свои великолепные салоны. Он давал роскошные, тонкие обеды и блистательные вечера, на которые съезжалось самое избранное общество, начиная с княгини Анны Васильевны.

Княгиня, смотря однажды на хозяйку дома, которая с необыкновенною приветливостию и любезностию, соединенною с достоинством, принимала своих блестящих гостей, подозвала ее к себе.

— Ну, Lise, признаюсь тебе, — сказала она, — я не узнаю тебя. Ты переродилась. По-

здравляю тебя. Я люблюсь тобой, мой друг. Вот что значит иметь такого мужа, как твой. Ты должна уметь ценить его.

Старушка понюхала табаку и продолжала:

— Немногим выпадает на долю такое счастье, как тебе... очень немногим...

Старушка при этом покачала значительно головой, которая у нее и без того качалась от старости.

— Чувствуешь ли ты это... а?.. Ну, скажи мне, мой друг, ведь правда... ты очень счастлива? — прибавила она, улыбаясь.

— Очень, — отвечала Лизавета Васильевна с спокойным достоинством и с холодной улыбкою, — и в ту же минуту обратилась к только что вошедшему в комнату какомуто старому военному генералу, с грудью, украшенной орденами и звездами.

В одно утро Виктор Александрыч сидел в своем кабинете в особенно приятном расположении духа. Он выпускал изо рта благовонный дым гаванской сигары, следил за синеватою струйкою дыма и с приятностию потягивался в своих креслах. Душевное спокойствие его было так полно, что оно придавало в эту

минуту его лицу, обыкновенно строгому и даже несколько суровому, совершенно несвойственное ему выражение, мягкое и кроткое. Он был доволен всем — своим положением в свете, своею служебною карьерою, своим здоровьем, своим аппетитом, своими доходами, своим новым домом, своим выигрышем (он накануне выиграл в Английском клубе 8000 руб.), своей женою и, может быть, Дарьею Васильевною, если допустить городские сплетни...

Но так как самый счастливейший человек в мире, которому, по-видимому, не остается уже ничего желать, все еще непременно желает чего-нибудь, — то и Виктор Александрыч, несмотря на свое совершенное довольство, желал получить одно довольно видное место, которое ему было обещано.

В ту самую минуту, когда он погрузился в размышления об этом месте, перед ним вдруг как будто выскочил из-под пола ливрейный лакей с серебряным подносом, на котором лежало письмо. Шагов лакея нельзя было слышать на мягком и толстом ковре. Лакей стоял, несколько минут не замечаемый Викто-

ром Александрычем, и наконец решился слегка кашлянуть. Виктор Александрыч сделал движение головою, причем кроткое выражение его лица мгновенно исчезло и приняло свое обычное, строгое достоинство.

Он молча взял письмо с подноса и сделал движение головою. Лакей вышел. Виктор Александрыч взглянул на конверт... На нем был штемпель городской почты, почерк женский и как будто знакомый ему; он оборотил письмо и посмотрел на печать; на сургуче была одна буква Б. "Что это такое? Откуда это?" — подумал Виктор Александрыч. Он надломил печать, вынул письмо не без любопытства (оно было писано по-французски) и начал читать:

*"Я долго не решалась писать к тебе, — в продолжение двух месяцев каждый день я бралась за перо и бросала его, и только страх голодной смерти заставляет меня прибегать к тебе..."*

Виктор Александрыч побледнел немного и, остановившись на этих первых строках, взглянул на подпись. Письмо было от его сестры. Брови его невольно надвинулись на

глаза. Он продолжал читать:

*"Страх смерти! когда я сознаю, что мне ничего не остается, кроме смерти, но слабая человеческая природа подвержена таким странным противоречиям... Я хочу умереть, я знаю, что умру скоро, и между тем боюсь голодной смерти... Я чувствую, что я унижаюсь, прося милостыни и подаяния, и в то же время упрекаю себя за гордость и утешаю себя мыслью, что прошу не у постороннего, а у брата... Ты все-таки брат мне, и, несмотря на бездну, которая нас разделяет теперь, несмотря на то, что ты совсем бросил меня, забыл обо мне, несмотря на то, что между нами нет ничего общего, я все-таки люблю тебя, как брата... Этой любви, о которой ты, верно, не заботишься, ничто не могло искоренить во мне... Но я люблю тебя не в теперешнем твоём богатстве и блеске... Мы теперь и не узнали бы друг друга при встрече... сколько лет мы не видались!.. Ты мне все представляешься тем Виктором, с которым мы выросли вместе, с которым мы играли в куклы... Я люблю в тебе прежнего Вик-*

тора, моего маленького брата... Но, может быть, в тебе изгладились все воспоминания прошедшего и я тревожу твое счастье, твое спокойствие напоминанием о себе. Прости мне!.. Я чувствую, что мне не следовало бы писать к тебе. Я знаю, что богатые не любят докучливости бедных... Ты можешь мне сказать, что я терплю должное наказание за мой поступок и что я не заслуживаю сострадания. Ты можешь подумать, что я вижу теперь безрассудность этого поступка и раскаиваюсь в нем... О нет... нет! Клянусь тебе, я не могу раскаиваться, я была счастлива настолько, насколько может быть счастлива женщина, любимая благородным, прекрасным человеком, который делал все, что только может делать человек для доставления ей довольства и спокойствия. При нем я ни в чем не нуждалась. Он жил мной и трудился для меня. Я гордилась его любовью, я была счастлива так, как может быть счастлива женщина, — я повторяю тебе... Два года как его уж нет. Может быть, отнимая его у меня, бог наказывал меня за

то, что я вышла замуж; без благословения отца и матери... Может быть, я не знаю этого, — я знаю только, что я страдаю, и с терпением, какое только может иметь слабая женщина, переносила до сей минуты это наказание. До сих пор я не прибегала ни к чьей помощи. Я молча несла свою нищету до последней возможности. Муж: мой не мог мне оставить ничего, потому что у него ничего не было; то, что он приобретал, доставало нам только для безбедной жизни. После его смерти я кое-как поддерживала себя своей работой и тем, что продавала кое-какие вещи, оставшиеся от нашего прежнего хозяйства... в сию минуту мне уже продавать нечего, я так слаба и больна, что не могу работать, а умереть голодную смертью все-таки страшно!.. Спаси меня и помоги мне, если не из сострадания к бедной сестре, то из чувства христианского сострадания. Мне остается не долго жить, — я больна... Если бы не моя болезнь, которая лишила меня возможности работать, я не прибегала бы к помощи... но что же мне делать? — я

*не знаю... Я еще что-то хотела сказать тебе, но я не могу, я ничего не помню... мысли мои путаются, голова моя так слаба! О, если бы ты знал, чего мне стоило написать это письмо и чего мне стоило решиться послать его к тебе..."*

В конце письма был адрес.

Прочитав письмо, Виктор Александрыч опустил голову, которую, как известно, он всегда держал прямо, и задумался.

Через минуту он встал, подошел к своему письменному столу, выписал адрес из письма, а письмо бросил в топившийся камин и дернул за звонок.

— Послать ко мне сейчас Подберезского, — сказал он вошедшему лакею.

Через четверть часа г. Подберезский явился.

Это был белокурый молодой человек, с румянцем на щеках, с маленькими глазами, с сладкой улыбкой и с подобострастными ужимками. Он вошел в комнату с такой осторожностью, как будто пол был под ним хрустальный.

— Любезный Викентий Станиславич, — сказал Виктор Александрыч своему секретарю, который в знак глубочайшего внимания почтительно вытянул шею несколько вперед и сжал губы, — вот вам адрес одной дамы, которой нужна скорая помощь. Поезжайте к ней сейчас и отвезите ей пятьсот рублей, кроме того, распорядитесь, чтобы каждый месяц ей выдавали по полутора ста рублей. Вы не должны говорить ей, от кого эти деньги и не должны упоминать при ней моего имени. Вы просто отдайте те деньги, не вступая ни в какие объяснения. Вообще я вас прошу, чтобы это было между нами.

Слышите?

При этих словах Викентий Станиславич опустил веки, раскрыл рот, как будто хотел что-то произнести, но не произнес ничего, а только приложил руку к сердцу.

— Поезжайте сейчас, — прибавил Виктор Александрыч.

— Слушаю-с. Я сейчас же это с точностию исполню, — произнес секретарь тихим и вкрадчивым голосом, поклонился и вышел из кабинета своего принцепала с такою же по-

чтительною осторожностью, с какою вошел.

Через час Викентий Станиславич возвратился и доложил, что отвез деньги.

— Вы не говорили от кого? — спросил Виктор Александрыч.

— О нет, помилуйте! я буквально исполнил ваше приказание...

— Вы ее видели? отдали ей самой эти деньги?

— Я все исполнил так, как вы приказали, в точности... Она спросила от кого, но я сказал ей так глухо, что от неизвестного благотворителя...

— Ну хорошо, хорошо! — нетерпеливо перебил Виктор Александрыч, останавливая дальнейшие объяснения своего секретаря.

Виктора Александрыча беспокоила несколько мысль, чтобы секретарь не узнал какимнибудь образом о том, какие отношения связывают его с этою дамою, и когда секретарь явился к нему с ответом, он посмотрел на него пытливym взглядом; но в лице Викентия Станиславича было столько простодушия и тупоумной подчиненности, что Виктор Александрыч совершенно успокоился; а меж-

ду тем Викентий Станиславич тотчас же все разузнал в подробности и думал, смеясь внутренне и глядя на своего принципала: "Ну ты, конечно, хитер, но я все-таки буду похитрее тебя!" Обеспечив существование Софьи Александровны по чувству долга, Виктор Александрыч успокоил свою совесть и думал, что этим он совершенно отделался от своей сестры, как вдруг был встревожен новым письмом от нее — месяца через четыре после первого. В этот раз он не хотел беспокоить себя неприятным впечатлением и, не распечатывая, бросил его на стол.

Софья Александровна начинала нарушать гармоническое настроение духа Виктора Александрыча. При мысли, что каким-нибудь образом дойдут до света слухи о том, что его сестра содержала себя трудами рук своих, как какая-нибудь швея, что она жила в нищете, — холодный пот выступал на его лбу.

Беспокойство его продолжалось, впрочем, недолго, потому что через неделю после непрочитанного им письма г. Подберезский, являвшийся к нему каждое утро за приказаниями, доложил ему, что дама, пользовавшаяся

его благотворительностью, та самая, которой, по его приказанию, выдавалось по полутора-ста рублей в месяц, в эту ночь скончалась, что он утром был у нее для того, чтобы отвезти ей следуемые деньги, и застал ее уже на столе.

Г-н Подберезский произнес это с почти-тельной осторожностью, с потупленными глазами, с печальным выражением и прибавил со вздохом, что эта дама была очень нездорова последнее время.

Виктор Александрыч выслушал своего секретаря так хладнокровно и спокойно, как будто он донес ему о самом обыкновенном вседневном происшествии, несмотря на то, что внутренне был сильно взволнован двумя совершенно противоположными ощущениями: смерть эта пробудила в нем что-то похожее на участие к бедной женщине, так много страдавшей, и в то же время ему было как будто приятно, что все его беспокойства и опасения уничтожаются этою смертью.

— Очень жаль, — сказал Виктор Александрыч своему секретарю голосом спокойным, — я вас прошу распорядиться насчет ее похорон... Я желаю, чтобы все было устроено

прилично и чтобы на могиле был поставлен памятник. Эти дни вы можете отложить все другие дела и заняться этим. Я вас не удерживаю. Вам сейчас же надобно отправиться туда.

Секретарь еще раз вздохнул, поклонился и вышел.

Оставшись один, Виктор Александрыч вспомнил о письме к нему сестры и распечатал его. В нем заключалась последняя ее просьба — приехать с ней проститься.

Виктор Александрыч не сжег этого письма, он положил его в тот ящик стола, где хранились самые важные его бумаги. Несколько минут он просидел, облокотившись на стол.

"Да простит ее бог, как я ее прощаю! — подумал он. — Она искупила своими страданиями свой поступок. Ей ничего не оставалось, кроме смерти, потому что она избавила ее от укоров совести и прекратила ее страдания".

И Виктор Александрыч при этом перекрестился...

Печальное известие это не помешало, однако, обыкновенным занятиям Виктора Александрыча. В этот день он, напротив, обнару-

жил большую деятельность: утром был в министерстве, перед обедом сделал несколько визитов, обедал в Английском клубе, а вечером появился вместе с своей супругою в своей ложе в Опере. Он казался в этот день еще торжественнее обыкновенного, как будто боясь, чтобы ктонибудь не открыл его семейную тайну и не проник в его сокровенные мысли.

На следующее утро он проснулся ранее обыкновенного, не мог заниматься ничем и до девяти часов вечера не выезжал никуда. Несмотря на все его уменье скрывать свои внутренние ощущения, можно было заметить, что его несколько тревожит что-то, но этого никто не заметил, кроме г-на Подберезского.

В девять часов он сел в свои сани и приказал кучеру ехать на Пески, к церкви Рождества. Близ рождественской церкви, на углу одной из улиц этого глухого и бедного квартала, он приказал кучеру остановиться у будки и спросил у часового, где дом Савельева.

— Вон маленький такой деревянный домишко, за фонарем-то, — отвечал часовой, — второй будет от угла, — и указал алебардою в

ту сторону, где находился дом.

Было темно, редкие фонари на улице не освещали ее, а только едва мерцали, распространяя кругом себя печальный красноватый блеск; начинал падать снег большими и мокрыми хлопьями.

Кучер остановился у домика, на который показал часовой. Виктор Александрыч вышел из саней, споткнулся о деревянные мостки, которые покорибило в этом месте, и чуть не упал. Он открыл калитку, наклонился и вошел в нее, едва отыскав в темноте крылечко дома, и постучался в дверь. Дверь отворилась. Перед ним, с сальной свечкой в медном подсвечнике, явилась старуха с заплаканными глазами.

— Кого вам? — спросила она.

— Я хочу проститься с покойницей, — сказал Виктор Александрыч, всунув в руку старухи два золотых.

Она посмотрела на него с удивлением и пропустила его. Он сбросил с себя шинель и спросил, куда идти.

— Вот сюда, сюда, батюшка, — сказала старуха, указывая ему дорогу. — Сюда пожалуй-

те, — и, качая головой и всхлипывая, заговорила о том, как бедная барыня страдала, как она неслышно заснула, как праведница, и как она ей, голубушке, закрыла глазки...

Она провела его через узенький коридор и отворила дверь комнатки, в которой лежала Софья Александровна.

Он переступил порог и остановился, опустив голову и закрыв глаза, как будто не решаясь вдруг взглянуть на лицо умершей.

Небольшой катафалк, обтянутый черным истертым сукном, закапанным воском, стоял поперек бедно убранной, но чистой комнатки, в переднем ее углу. Свечи в больших церковных подсвечниках, обтянутых флером, довольно ярко освещали комнатку.

Старичок чтец в очках читал псалтырь звучным, внятным голосом, нараспев, и эти звуки, печально и торжественно раздаваясь в тишине, производили глубокое, потрясающее действие.

Когда Виктор Александрита вошел в комнату, старичок чтец на минуту остановился, снял свои очки, протер их, снова надел, взглянул на него, и скорбные звуки раздались сно-

ва. Он читал:

*"Что хвалишиися во злобе силне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой: яко бритву изощрену сотворил еси леств. Возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, неже глаголати правду. Взлюбил еси вся глаголы потопныя, язык льстив.*

*Сего ради бого разрушит тя до конца: исторгнет тя и переселит тя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведнии, и убоятся, и о нем воссмеются, и рекут: се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею..."[1]*

Виктор Александрыч приехал поклониться телу сестры, примириться с ее прахом, проститься с ней и простить ее. Это была, по его мнению, христианская обязанность, и он был очень доволен, выполняя ее, и придавал своему поступку большую цену. Всю дорогу он был спокоен — и только ощутил небольшое внутреннее волнение, подъезжая к домику, где жила она. Но когда он переступил за порог его, когда он увидел бедность лицом к ли-

цу, когда он подумал, что в этой гнили, сырости и нищете жила его сестра, он почувствовал такое тяжелое, болезненное ощущение, которого никогда в жизни не испытывал. Подавляемые и забитые великосветскою, высшею школою, утонченною *comme il faut*'ностью, тщеславием, эгоизмом и суетностью, его совесть и человеческое чувство вдруг с воплем вырвались на свободу и заговорили в нем так громко, что потрясли на минуту до основания все существо его. Торжественные слова святой книги, поразившие слух его: Се человек, иже не положи бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможе суетою своею, — показались ему голосом свыше, осуждавшим его. Он почувствовал, что голова его кружится, что туман застилает его глаза, еще минута, и он упал бы без чувств, но вдруг слезы потоком хлынули из глаз его; он зарыдал и закрыл лицо руками... Грудь его стало легче, он вздохнул свободнее, сделал робко несколько шагов вперед и, еще все не смея взглянуть на ту, которая лежала в гробу, упал на колени перед гробом и смиренно приник головою к ступеням ката-

фалка... Это был уж не человек, пришедший прощать, а просивший о прощении. Он взшел на ступеньки катафалка и взглянул на усопшую.

На ее исхудалом и осунувшемся лице было выражение полного спокойствия и как будто улыбка на губах. Он склонился головой к ее холодному лицу, поцеловал его, сошел со ступенек, опять стал на колени, помолился, встал и быстро вышел из комнаты...

Он не помнил, как вышел на улицу и как сел в сани, и когда кучер подвез его к дому, спросил:

— Зачем ты остановился?

— Вы приказали ехать домой, — отвечал кучер.

Тут только Виктор Александрыч совершенно пришел в себя, взял верх над собою и принял ту гордую и спокойную осанку, которая так шла к нему.

Он прошел прямо на свою половину, послал своего камердинера просить у Лизаветы Васильевны извинения, что не зашел к ней, потому что чувствует себя не совсем здоровым; тотчас разделся и лег в постель. Он дол-

го не мог заснуть, и сон его был беспокоен; всю ночь его преследовала сестра. То являлась ему она в том виде, как была девушкой, с гладко зачесанными густыми, волнистыми напереды волосами, в белом платье; она сидела возле него на скамейке в каком-то саду и смотрела на него своими бледно-карими глазами; взгляд этот производил на него приятное и не испытанное им впечатление, как будто лучи этого взгляда проникали его насквозь, разливали теплоту по всему его телу, заставляли биться его сердце, и призывали его к новой, лучшей жизни, о которой ему никогда не грезилось. То ему казалось, что она в гробу и что в то время, когда он подходил к ней и наклонялся, чтобы поцеловать ее, она приподнималась, обнимала его и так крепко сжимала в своих холодных объятиях, что он задыхался. То она гонялась за ним на бале, среди великолепно разубранной и блестящей толпы, при ослепительном освещении, в лохмотьях и рубище и кричала всем: "Я сестра его!" — и он не знал, куда скрыться от нее, и его преследовали всеобщий ропот, негодование, язвительные насмешки и презритель-

ные взгляды...

Он проснулся в сильном волнении, свет уже проникал сквозь темные шторы и двойные занавески его спальни, встал, выпил стакан воды и начал ходить по комнате.

Через час он совершенно успокоился, пришел в свое нормальное состояние, и никто не заметил в лице его ни малейшей перемены. Он упрекал себя за непростительную слабость и употребил все усилия, чтобы задушить в себе окончательно человеческое чувство, которое так неожиданно и дерзко обеспокоило его накануне...

Он не поехал на похороны сестры. За ее гробом шли до кладбища несколько старушенок и женщин из того околотка, где она жила, и сзади в карете ехал г. Подберезский.

Спустя два дня после этих похорон Виктор Александрыч был на одном рауте. Он встретил там своего главного начальника, который поздравил его с получением того места, о котором он так мечтал.

Это известие окончательно изгладило все неприятные впечатления Виктора Александрыча.

О новом его назначении только с месяц назад тому было напечатано в газетах — и потому мне ничего не остается сказать более.

# Примечания

# 1

(Псалом 51, ст. 1 — 9.)

[^^^]